

Роман Сенчин

Сенчин Дождь в Париже

Лауреат премий

БОЛЬШАЯ
КНИГА,
ЯСНАЯ
ПОЛЯНА

Роман



Новая русская классика

Роман Сенчин

Дождь в Париже

«АСТ»

2018

УДК 821.161.131
ББК 84(2Рос=Рус)644

Сенчин Р. В.

Дождь в Париже / Р. В. Сенчин — «АСТ», 2018 — (Новая русская классика)

ISBN 978-5-17-107608-5

Роман Сенчин – прозаик, автор романов «Елтышевы», «Зона затопления», сборников короткой прозы и публицистики. Лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна», финалист «Русского Букера» и «Национального бестселлера». Главный герой нового романа «Дождь в Париже» Андрей Топкин, оказавшись в Париже, городе, который, как ему кажется, может вырвать его из полосы неудач и личных потрясений, почти не выходит из отеля и предаётся рефлексии, прокручивая в памяти свою жизнь. Юность в девяностые, первая любовь и вообще – всё впервые – в столице Тувы, Кызыле. Его родители и друзья уже покинули город, но здесь его дом, он не хочет уезжать – сначала по инерции, а потом от странного ощущения: он должен жить здесь... А в Париже идет дождь.

УДК 821.161.131
ББК 84(2Рос=Рус)644

ISBN 978-5-17-107608-5

© Сенчин Р. В., 2018
© АСТ, 2018

Роман Сенчин

Дождь в Париже

© Сенчин Р.В., 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018

* * *

– Мёсьё, мёсьё! Та-ра-ра-ра... – не будящая, а баюкающая нежноголосая тарабарщина, и тут же родное:

– Э, вставай, приехали!

Тычок в плечо.

Топкин с великим трудом открыл глаза, сквозь боль в них и вокруг – в висках, затылке – огляделся, соображая, где он, что с ним, зачем его тормозят.

– Счас ведь полицию вызовут. Тебе это надо?

Над ним усмехающееся широкое лицо тетки лет под шестьдесят. Рядом узкое, молодое, встревоженное – стюардессы.

А, да, самолет... Уже долетели...

– Все нормально, спасибо, – хрипнул Топкин через налипшую в горле слизь от выпитого виски.

Много выпил и почти не закусывал – шоколадка, пластинки сыра... Давно так не позволял себе, а тут сорвался... Действительно сорвался – взял и полетел в Париж.

«Взял и полетел...» Да нет, долго готовился, копил деньги, решался. А мечтал – так, наверно, всю жизнь.

Одно из первых воспоминаний: он с родителями гуляет в городском парке. Папа, в красивой форме с золотыми погонами, катит перед собой коляску, в которой его, Топкина, сестра Таня. Рядом с папой – мама. Темно-синее узкое платье, туфельки постукивают по асфальту... Топкин, которому года три-четыре, отбегает вперед и любит на родителей, высокую коляску. Он не понимает, что любит, – ему просто хорошо.

Начало лета или конец весны. Нежно-зеленые, молодые листья тополей. И в воздухе плавают тоже нежная, какая-то юная песня.

«О-о-о шанз-элизе, о-о-о шанз-элизе-е...»

Топкин – тогда просто Андрюша – еще не знает про громкоговорители, развешанные в парке на столбах, – он уверен, что сама природа рождает ее, эту чудесную мелодию, непонятные, но красивые слова.

«Мама, а про что эта песня?»

«Она о самом красивом городе в мире», – говорит мама и смотрит куда-то вверх, словно пытаясь увидеть миражи этого города.

«А как он называется?»

«Париж, сынок. Он называется Париж».

Андрюша тихонько повторяет новое сложное слово: «Паризь... Паризь...» И когда оно уже готово вклиниться в сознание, в ту ячейку мозга, которая предназначена для понятия «лучший город мира», вспыхивает недоумение, такое сильное, какое бывает только у детей, начавших узнавать мир: «А наш Кызыл – не самый лучший?»

Папа улыбается, но как-то странно, половиной лица: одна половина улыбается, а другая будто кривится.

«Лучший, – отвечает он за маму, – но по-другому... Пойдемте дальше, к каруселям».

Андрюшу сажают в красную ракету, и он летит. То поднимается высоко-высоко, почти к вершинам тополей, то опускается к земле... Он первый раз на этой карусели. До этого родители разрешали кататься на лошадках, которые кружатся медленно, мягко покачиваясь. А тут – ракета. Почти настоящая. Когда она поднимается, Андрюша перестает дышать, вжимается в пахучее, размякшее от жары кожаное сиденье. Ему кажется, что он навсегда покинул родителей, больше не вернется к ним, не ступит на траву...

Десяток секунд в вышине разрастались до целого путешествия сквозь Вселенную, пушистые ветки тополей становились планетами, редкие облака – опасными туманностями, небо – бездной, далекие горы Саяны – границей этой Вселенной, и, когда ракета снижалась, Андрюша даже не с радостью, а с удивлением видел маму и папу, коляску. Родители махали ему, а он только растягивал губы, боясь оторвать руки от стальной скобы-поручня...

Потом Андрюша Топкин первый раз в жизни ел сахарную вату, весь перемазался, и мама долго оттирала его возле фонтана на центральной площади парка. Потом катались на лодке по протоке Енисея, оставив коляску на пристани, и папа так сильно греб, что лодка мчалась, как катер; мама крепко прижимала к себе годовалую Таню. Потом сидели в летнем ресторане и ели шашлык... И хотя, конечно, из громкоговорителей лились другие песни, но в душе Топкина всё это хорошее, чудесное, первое настоящее, стройное воспоминание осталось окрашенным той песней – «О-о-о шанз-элизе-е...»

И вот спустя почти сорок лет он вот-вот увидит этот лучший город в мире, лучшую улицу в лучшем городе – Шанз-Элизе, Елисейские Поля.

* * *

Шел по длинному рукаву, проложенному из самолета в аэропорт, нес на плече легкую сумку. Хотелось воды, курить, хотелось чего-нибудь такого, что вынет боль из головы, из-под глаз, вольет бодрость и силу... Зря переборщил. Но что еще оставалось, проделывая длинный путь сюда? Длинный не по расстоянию даже, а по затраченным усилиям, сгоревшим эмоциям...

Этот Новый год – год, который уже кончается, – встречал один. Впервые в жизни. Тридцать первого декабря спал до обеда, заставлял себя лежать в постели с закрытыми глазами... В голову лезли и лезли воспоминания, и в основном горькие: о потерянном, о сделанном неправильно, о поражениях, которые осознаешь лишь спустя время, когда ничего нельзя вернуть, переделать, – они долго казались победами...

Топкин всячески – и так и сяк – гнал их, эти похоронные воспоминания, вытягивал из прошлого светлое, теплое. Такого было тоже немало, но, оказавшись рядом с горьким, светлое становилось не светлым и теплым. Будто маралось и остывало... Топкин физически чувствовал, как клетки мозга, по-разному окрашенные, боролись друг с другом. Черные побеждали. Приходилось бросать в бой резервы – откуда-то из груди порции светлого. На несколько минут они вытесняли черноту, расширяя яркое живое пространство, но очень быстро черные вновь становились сильнее, заливали светлые клетки своей горькой волной.

Истомившись, Топкин распахнул глаза, уставился в потолок. Вместо воспоминаний стал строить планы на будущий год. Что бы такое сделать, что запомнится незамутненно светлым, как некоторые воспоминания детства... Что бы такое придумать?..

В прошлом августе ему исполнилось сорок лет. Он решил отметить круглую дату, хотя знал, что сорокалетие справлять не стоит: плохая примета.

«А, фигня, – помнится, отмахнулся, – до полтинника, может, не доживу. А доживу – вряд ли захочется отмечать с музоном, плясками».

Забронировал стол в клубе «Горыныч» на тридцать мест, принялся обзванивать оставшихся в городе одноклассников, друзей юности, тех немногих, с кем близко, по-человечески

сошелся позже – на тех работах, которые перепробовал к своему сорокату. Были еще девушки, женщины, много девушек и женщин, девушек, превратившихся в женщин и даже тетенек, но их приглашать не стал: жена наверняка бы не поняла.

Да, в том августе у него еще была жена – Алинка. Но жена – это... Когда-то Топкина поразило предельно циничное, мерзкое, как он решил тогда, в семнадцать лет: «Жены – дело наживное. Жены не переводятся». Он, влюбленный в одноклассницу и видящий женой только ее, перестал общаться с тем, кто сказал такое. Но потом, по мере движения по жизни, понял, что слова эти справедливы. И у него до Алинки были две жены. Были свадьбы, обмен кольцами, марш Мендельсона, штампы в паспорте... А сколько между ними было тех, что могли бы стать женами, – десятки...

Теперь Алинка далеко, она теперь почти не жена – сообщила, что подает на развод. Пускай. Но то, что и сын тоже не рядом – тоже, считай, потерял, – давит как камень. Только фамилия и отчество указывают, что Андрей Топкин – отец Даниила Андреевича Топкина, ныне шестилетнего жителя города Боброва Воронежской области. Чтобы его увидеть, нужно добираться черт знает сколько времени с кучей пересадок. Дольше, чем до Парижа.

В сентябре прошлого года Алинка с Даней уехали. Год назад. С тех пор Топкин сына не видел...

И вот не верь в приметы... Тревожность появилась, еще когда обзванивал тех, кого хотел увидеть на днюхе. Многие были не в городе – сезон отпусков, некоторые, оказалось, переехали за то время, пока не встречались. Один из одноклассников умер, и Топкина задело, что ему не сообщили, не позвали попрощаться, помочь похоронить. Город-то на самом деле небольшой – еле-еле за сто тысяч жителей перевалило. А русских при этом осталось от силы... Мало, в общем, осталось, много меньше, чем было в восьмидесятые. И живут эти остатки разрозненно, каждая семейка – отдельно. Как прячутся...

Набралось гостей человек пятнадцать, и Топкину пришлось звонить в «Горыныч», просить, чтобы стол сократили: «Человек на семнадцать сделайте. Салаты, вино, водку, горячее...»

Вторая проблема возникла перед самым празднованием – к Топкину подошли охранники клуба: «Вы же знаете наш принцип – тувинцев мы видеть не рады. У них свои места».

Действительно, по негласному, но строгому закону клуб считался русским. Здесь были русские хозяева, русская охрана, русская кухня, русские официантки. В определенные дни происходил легкий – топлес на несколько секунд – стриптиз. А главное, атмосфера была для этих мест особая. Нельзя сказать, что вот прямо какая-то русская, но и не такая, что царила в остальных клубах, ресторанах, кабаках города вроде «Хаан-клуба», «Баян-гола», «Юрты», «Чодуры»...

«Горыныч» располагался в бывшем ангаре-складе бывшего пивзавода. Пиво никогда на заводе не делали, зато выпускали очень вкусную газировку «Буратино» и «Дюшес». Теперь же само здание завода стояло заброшенным, с выбитыми стеклами, обрушившимися перекрытиями, а в ангаре плясала, отмечала праздники, ела и пила сохранившаяся в городе русская молодежь и те, кто хотел оставаться молодежью.

Топкин уговаривал пропустить своих гостей-тувинцев, сделать исключение.

«Они русские тувинцы», – заверял.

«Все они здесь русскими были тридцать лет назад, – усмехнулся пожилой уже охранник. – И что теперь...»

Тут появился Игорь Валеев – с ним Топкин учился в одной школе, на два класса младше, – ныне подполковник ФСБ, тоже приглашенный на день рождения. Топкин пересказал ему суть дела, и Игорю, которого охранники знали, много времени и слов не понадобилось – хотя видно было, что это не доставляет ему удовольствия, – чтобы их убедить.

«А потом сами будете возмущаться, что последнее место толобайцы заполонили».

Застолье началось вроде бы радостно, хорошо, но постепенно тосты и разговоры становились всё более серьезными, а потом и явно грустными. Мало кто из сидевших за праздничным столом видел свое будущее здесь определенным и прочным, большинство, хоть и занимали немалые посты, имели денежную работу, считали время до пенсии – а пенсионный возраст в республике, приравненной к районам Крайнего Севера, наступал для женщин в пятьдесят, а для мужчин в пятьдесят пять лет – или ждали выслугу лет, как Игорь Валеев, чтобы уехать кто в Красноярский край, кто в Новосибирск, кто на Кубань. Готовили там себе почву – строили дома, покупали квартиры. Топкин же, по словам жены, «не шевелился», хотя почва была подготовлена: ее родители в Воронежской области.

Они переселились туда два года назад, и с тех пор Алина заводила разговоры о переезде.

«Что нас ждет здесь? Никаких перспектив. Благо бы ты какой-нибудь шишкой был, а то – мастер по установке стеклопакетов. До старости ведь не будешь их ставить».

Топкин поначалу обещал подумать, отговаривался тем, что не может тоже вот так взять и продать квартиру – «я за нее с первой женой не рассчитался», – рвануть неизвестно куда.

«Да почему – неизвестно?! – всплескивала руками Алинка. – У родителей дом прекрасный, а если не хочешь с ними, отдельный купим».

«И что я буду там делать, в этом Боброве? Я посмотрел в инете – двадцать тысяч населения, маслобойный заводик. Маслобоем идти работать?»

«У родителей ферма. У них можно...»

«Я не крестьянин», – усмехался Топкин.

На время Алинка вроде забывала о переезде, а потом возобновляла уговоры с новой силой:

«Не хочешь в Бобров, давай в Воронеж. Здесь сейчас программа помощи молодым тувинским семьям – нашу двушку хорошо возьмут. Цены почти московские, я слышала. И ту часть за нее твоей бывшей отдадим... Купим там такую же. Или три комнаты – родители обещали помочь».

«Я подумаю, Алин».

Топкин упирался. Без крика, но твердо. Он и сам не мог объяснить себе, почему не соглашается. Ведь логически – переезд нужен. Ради сына, по крайней мере. Ему в школу вот-вот, а хорошие учителя почти все сбежали, оставшиеся подвижники стареют, из-за Саян теперь сюда никого и миллионами не заманишь... Да и вообще, сколько можно жить словно в осаде. По вечерам идешь по улице и ожидаешь от каждого встречного или нагоняющего удара ножом, шилом, заточкой или просто кулаком. Запираешь дверь в квартиру, куда-нибудь уходя, и не веришь, что, когда вернешься, она, даже стальная, будет цела, квартира не обчищена до последнего половика. Подходишь к продавщице и гадаешь – продаст ли она тебе кусок колбасы или сыра или демонстративно сделает вид, что не понимает по-русски, а то и спиной повернется...

И ведь Кызыл – даже не родина его, Андрея Топкина. Родился он недалеко от Благовещенска, где служил тогда папа, но с Кызылом связаны первые ощущения себя как части огромного мира, здесь случилась первая любовь, здесь оставались друзья, пусть и немного их, но все-таки. А те, что уезжают, будто исчезают, гибнут где-то в огромной стране.

И еще не мог Топкин согласиться уехать потому, что когда-то давно, в девяносто третьем, когда его собственные родители и сестра решили уезжать, он остался.

Запомнился, виделся ярко, детально момент: документы на продажу квартиры оформлены, контейнер с вещами отправлен и папа, глядя на Андрея серьезно, чуть ли не с угрозой, спрашивает:

«Не пожалеешь?»

«Не пожалею», – даже не стараясь изобразить сомнение, отвечает Топкин, тогдашний девятнадцатилетний Андрей.

Да, тогда он был тверд, тогда он был счастливым молодоженом; его родители и родители Ольги, его первой жены, совместно купили им вот эту двухкомнатку в относительно новой пятиэтажке в неплохом районе; Андрей учился в пединституте, но тесть, золотые руки на эстэо, устроил ему денежную подработку – оформление повреждений автомобилей. На аварии Топкин не ездил, а в свободное время перепечатывал сначала на машинке, а потом на появившемся компьютере набросанные от руки описания вмятин, разбитых фар, сломанных бамперов.

Родители уехали – уехали далеко, на другой край распавшегося Союза, который очень быстро стал по-настоящему другой страной. Эстония... И папа, и мама были родом оттуда, из русских семей, живущих там с восемнадцатого века. Поэтому гражданство им хоть и с натугой, но предоставили. По праву происхождения.

Поселились на русском пятакке – на берегу Чудского озера, в деревне Рае, рядом с городом Муствеэ, который чаще называли Черноводьем. Поначалу по телефону и в письмах – тогда еще принято было писать письма на бумаге – жаловались, даже вроде раскаивались, потом же стали восторгаться, звать к себе, затем снова жаловались, но уже с некоторой ноткой ностальгии, а теперь разговаривают по телефону и в скайпе ровно, спокойно, как-то даже не совсем по-русски... Топкин за эти двадцать лет побывал у них четыре раза. Скучал, позевывал, глядел на чужеватую жизнь наморщившись. Снова ехать туда не тянуло.

Почему скучал и морщился – не мог себе объяснить. И не пытался. По природе не твердый, не упорный, он когда-то решил, что его родина – вот здесь, в небольшом городе, окруженном горами, что его река – Енисей, его деревья – толстые кривые тополя, его лето – испепеляющее жаром, а зима – выжигающая морозом... Решил тихо, в душе, и не мог представить, что станет иначе...

А Алинка могла. И после долгой борьбы с Андреем, двух пробных поездок в этот неведомый Бобров в конце концов уехала туда навсегда. Вместе с сыном. Случилось это через месяц после застолья в «Горыныче».

Андрей звонил, уговаривал вернуться, верил, что вернется, но Алинка не вернулась. Наоборот, поставила ультиматум: или он продает квартиру и мчится к ним, или она подает на развод.

Удивительно, но его не испугали такие слова, не возмутили, не заставили что-то предпринять. Он как-то успокоился. Понял, что, если даже согласится и сделает всё, как она требует, прежней их жизнь вместе не будет. Не будет больше счастливых минут, разговоров душевных, открытых улыбок, той дружбы, что делает семью настоящей. Горько-гнилой осадок этого ультиматума ничем не вымыть. К тому же он не чувствовал страха, что может больше никогда не увидеть Даню. Сына. Это было странно, и он ругал себя, испытывал к себе гадливость, но страх не появлялся.

В те месяцы, что его не было рядом, Топкин тосковал, скучал, то и дело брал и крутил в руках оставшиеся игрушки, вспоминал те смешные слова, которые говорил сын совсем маленьким и совсем недавно. «Пукишь» вместо «купишь», «смеись» вместо «смейся», «башки» вместо «башка». Хотя «башки» – это не смешное, по-тувински это «учитель». Учителей все чаще называют башки...

Да, Топкин тосковал, ждал возвращения Дани, представлял, как схватит его на руки, подкинет, а тут, услышав от Алинки «подаю на развод», вдруг не испугался. Сына этот развод может отгородить от него стеной... новый папа появится... А он, наоборот, внутренне успокоился. Может быть, потому, что не мог осознать, представить, что сын больше не будет бегать по этой квартире, качаться на качелях во дворе этого дома?..

«Я подумаю», – сказал жене.

«Блин, ты четыре года говоришь “подумаю”! – противным голосом закричала она. – Еще когда родители тут были. Хватит!...»

«Слушай, – как ему показалось, вразумляюще заговорил Топкин, – мы познакомились с тобой здесь, в Кызыле. Здесь полюбили друг друга, в загсе на улице Кочетова поженились. Здесь родился наш сын. Родился здоровым, крепким пацаном. И с какой стати мы должны куда-то сваливать?»

Алинка выслушала не перебивая, а когда он замолчал, закричала так же противно, по-бабы:

«Там нет жизни! Ждать, пока нас зарежут?!»

«Кого из твоих знакомых зарезали?»

«Я не хочу сейчас вспоминать все те ужасы! Вот здесь мне хорошо. Здесь русская земля...»

«И здесь русская».

«А?.. – Изумление Алинки пересилило злобу или что там, что заставляет кричать. – Какая она русская?»

«Кызыл русские построили. И назвали Белоцарск. Ты сама мне про это все уши...»

«О господи! Вспомнил!.. Мало ли где русские строили. Грозный тоже русские строили, и где теперь? Ты еще про Русскую Америку поплачь...»

«Так можно всё отдать. И Воронеж с вашим Бобровом. Там уже рядом, читал, хозяйничают... из Грозного... Так, – сделал голос теплым, улыбочивым, – возвращайтесь, в общем, Алин. Поживем и решим тогда...»

«Я не вернусь», – сухое, какое-то металлическое в ответ.

Когда происходил разрыв с первой женой, с Ольгой, Андрей сходил с ума от страха и горя. Умолял не уходить, клялся исправиться, сделать всё, чтобы ей хорошо было. Не помогло – ушла, оставила. И с тех пор он расставался с женщинами не то что легко (нет, с некоторыми и легко), а без того страха и горя, ощущения пропасти под ногами. Словно всё истратил на Ольгу.

И теперь, услышав это «я не вернусь», он ровным голосом отозвался:

«Что ж, как знаешь. Ты свободна в своем выборе».

«Правда? – Горячечный хохоток и обещающее: – Хорошо-о...»

Этот, произошедший под самый Новый год разговор был особенно бурным – и Алина, и Андрей повторяли в нем то, что уже много раз говорили, – но стал каким-то итоговым. Их семья откровенно разваливалась, гибла...

Топкин не побежал за водкой, не занялся вызваниванием кого-нибудь из знакомых девушек, чтоб утешили, развлекли, а, отработав последнюю смену, накупив продуктов, заперся в квартире. Друзья спрашивали по телефону, как собирается встречать две тысячи четырнадцатый. Он отвечал:

«Да дома решил. Отдохну».

Лежал на широкой тахте, смотрел сначала репортажи из митингующего Киева, потом развлекаловку по «ТНТ» и «СТС», а когда надоело – один за другим любимые фильмы в интернете. Глаза смотрели, а мозг искал, как жить дальше. И во время «На грани безумия» с Харрисоном Фордом и красивыми видами Парижа возникла идея съездить в Париж. Тур на неделю или дней на пять. Да, на пять... А что? Не так уж это и дорого.

Спустя десять месяцев эта идея осуществилась.

* * *

Занятый мыслями, Топкин потерял ручеек пассажиров со своего самолета. Заметался, запаниковал, но почти сразу увидел вывеску со стрелкой и словом “*Sortie*”.

– Выход, – шепотом перевел и зашагал, куда указывала стрелка.

Оказался перед матовой дверью, которая разъехалась в стороны, и он попал в толпу встречающих. У многих в руках были картонки, бумажки... Взгляд зацепился за название его турфирмы и его рейса. Картонку держала симпатичная тонкая девушка.

Топкин отвернулся, быстро разжевал подушечку «Эклипса», чтоб сбить перегар, и тогда уж подошел:

– Вы не меня случайно ждете?

– Может быть. – Лицо ее стало серьезным. – Как ваша фамилия?

– Топкин, Андрей. От слова «топь», наверное. Но точная этимология не установлена.

Девушка оторвалась от списка, глянула на Топкина с интересом.

– А вы французенка? – спросил он – ему хотелось болтать, шутить, поднять себе настроение.

– Нет, русская.

– Да? А в голосе что-то французское...

– С девяти лет живу здесь. Родители привезли. Теперь работаю с туристами из России. – Девушка нашла его фамилию. – Да, вы мой. Первый. Вы без багажа?

– Конечно. Зачем в Париж со своим шмотьем? Блок сигарет да билет в обратную сторону. На самолет с серебристым крылом, – пропел Топкин, – что, взлетая, оставляет земле лишь тень.

– Придется подождать.

– Что?

– Придется подождать, пока остальные багаж получат.

– А, да... А можно на улице? – Курить Топкину хотелось больше, чем болтать и любоваться милым личиком. Тем более что оно оставалось серьезным.

– Хорошо. Но только далеко не отходите.

Топкин остановился у ближайшей урны с желобком для окурков, достал сигареты. Таксисты, совсем как в Абакане, Москве, перегораживая путь, призывали выходящих садиться в их машины. У согласившихся ехать подхватывали сумки и чемоданы, несли их в дождливую, подсвеченную огоньками полутьму...

Да, уже стемнело, и пока то да сё, пока доедут – будет совсем ночь. И не погуляешь. Дождь к тому же. Надо было зонтик взять – у него дома остался хороший, складной.

Вспомнился фильм «Укол зонтиком». Точнее, попытки десятилетнего Топкина пробраться на этот фильм в кинотеатр «Пионер». Казалось, весь город побывал, родители вернулись с сеанса веселые, пацаны во дворе рассказывали, что ржали всю дорогу, что даже секс был, а Андрея не пускали. Посмотрел через несколько лет, но без удовольствия: давнишняя обида мешала смеяться...

Отвернулся к бетонной колонне, вынул из сумки плоскую бутылку с остатками виски – оставалась еще одна, полная, – и допил. Вместо закуски глубоко, до дна легких, затянулся.

И накатило другое воспоминание – как везли брагу на дачу Боба, Пашки Бобровского.

Год восемьдесят восьмой, наверное, а может, и раньше. Лет по пятнадцать им было... Как-то в субботу, после школы, отпросились у родителей с ночевкой на дачу. Пацаны и девчонки из класса и Боб вдобавок, на год их старше. Топкин и Боб жили в соседних домах и, можно сказать, дружили.

К поездке с ночевкой готовились долго. Поставили две трехлитровые банки браги на смеси разного варенья и тертой ягоды – что кому удалось стащить из родительских запасов. Банки хранились у светловолосого Димки Попова, которому без фантазий дали когда-то прозвище Белый. Димка всерьез занимался фотографией, темнущка в его квартире была оборудована под фотолабораторию.

«Если запалят, скажу, что проявитель-закрепитель закис», – придумал Белый детскую по существу, но тогда казавшуюся надежной отмазку.

Когда родителей не было дома, а то и по ночам, Белый открывал банки, выпускал газ; чтобы аромат браги не расплывался по комнатам, прыскал в своей темнушке одеколоном.

«Дима, что так одеколоном пахнет?» – забеспокоилась мама.

«Да вот прижигаю». – Белый потыкал в свой прыщавый лоб.

«Может, дрожжей попьешь? Они хорошо помогают».

Когда он это пересказал, пацаны долго ржали:

«Скоро обопьемся дрожжей!»

Наступила суббота, бражка доспела, и главным стало вынести ее из квартиры.

После уроков сбежали по домам, сменили школьную форму на уличные свитера и ветровки, завалили к Белому специально гурьбой, с рюкзаками, устроили толчею в прихожей. Темнушка была тут же: сразу направо от входной двери узкий пенальчик.

«Пап, я пару журналов возьму? – крикнул Белый. – На растопку».

«Возьми», – из глубины квартиры.

Белый с Бобом втиснулись в пенальчик, поставили банки в рюкзак, между ними – «Советский воин». Вынесли отяжелевший рюкзак, прикрывая спинами... Мама Белого, провожавшая сыночка, не заметила этого маневра или не захотела заметить.

«Счастливо, ребята, – говорила, – ведите себя хорошо. Завтра к вечеру ждем. Не доводите, чтоб мы подняли тревогу».

«Конечно, конечно, – послушные кивки, – тётъ Люд».

Во дворе ждали девчонки. Юлька Солдатова, Марина Лузгина, Ленка Старостина, Оля Ковецкая. Никто ничья не подруга – дружили пацаны с девчонками даже в последних классах в открытую редко, это считалось как-то западло, но обоюдные симпатии чувствовались. И Топкин уже тогда, лет в пятнадцать, знал, что Оля будет его, его навсегда...

Шли через родной, но опасный район – вполне в это время могли нарваться на старшаков, а те всегда чуяли, зачем и с чем передвигаются такие вот компании. Начнут трясти на бухло, на бабки.

Обогнули школу номер пятнадцать, в которой все учились, – трехэтажное здание с гордо вздернутым козырьком над входом, пристройкой-спортзалом сзади. За спортзалом курили на переменах, махались – дрались один на один, доказывая друг другу и окружающим, кто сильнее и, следовательно, главнее.

Через узкую дорожку из выщербленного асфальта был детский сад. В него ходили и Белый, и Юлька, и Марина, и Оля, и он, Топкин. С Олей они были, правда, в разных группах, почти не помнили друг друга. И хорошо. Помнить свою девушку или своего парня горшочником не очень-то симпатично...

В первых классах Топкин с Белым после уроков пробирались на территорию садика, качались на качелях – в их дворе качели вечно были сломаны, – сидели под грибочком, рассказывая друг другу всякие небылицы, совсем как носовские фантазеры. Знали друг друга с раннего детства, виделись почти каждый день, но, рассказывая, в тот момент верили, что, например, Белый с папой летали в Индию по папиным разведческим делам и на них напали дикие люди в джунглях, или Топкин на берегу Енисея в зарослях тальника нашел чемодан с деньгами – целые пачки красных десятирублевков, но пришли старшаки и отобрали...

Их гонял сторож. Гонял страшно и громко, и, увидев его, вперевалку, медленно и тяжело, как бегемот, бегущего, Белый и Топкин срывались с места, подхватывали ранцы и рвали к калитке. Вслед сторож сипел:

«Еще раз увижу – ноги выдерну!»

Однажды за них заступилась то ли воспитательница, то ли родительница:

«Как вы смеете им такое говорить! Они ведь дети совсем!»

«Не положено посторонним».

«Какие они посторонние?! Ребята скучают по садику, по детству своему. Приходят под защиту, а вы их – метлой».

«Аха, а курить начнут, портвейн глушить... У меня тут такие каждую ночь... Тоже детству вспоминают».

Кстати, вскоре после этого боя женщины со сторожем они первый раз попробовали курить. Белый принес в школу две сигареты с маленькими красными буквами возле оранжевого фильтра, складывающимися в слово «Столичные».

Покурить решили не в садике, конечно, не за спортзалом, где вполне мог поймать высокий, с несколькими завитушками на лысеющей голове физрук по кличке Одуван. Нашли место между пульманами.

Вот они, рядом с детсадовским забором, – металлические, покрытые темно-зеленой краской огромные сооружения, похожие на вагоны, которые у них называли «пульманы». Подобные возят тяжелые тягачи. И эти наверняка привезли из-за Саянских гор в шестидесятые годы, отцепили и оставили. Их довольно много во дворах в центральной части Кызыла. Покоятся меж домов, обросшие тополями и шиповником; в них что-то хранится: на дверях – большие навесные замки, сгнившие деревянные лесенки кто-то меняет на новые, кто-то раз в десятилетие закрашивает густой краской заржавевшие стыки склёпанных железных листов.

Представлялось, что это жилища первых поселенцев их кварталов. Поселенцы построили пятиэтажки, переехали туда, а пульманы, заварив в них окошечки, замкнув двери, оставили на всякий случай...

Осторожно, боязливо закурили. Втянув дым, Андрей задохнулся, стал давиться кашлем, хотел уже выбросить сигарету, но Белый, тоже задыхаясь, прошипел:

«Погоди... это всегда так... Счас классно будет».

Следующие затяжки пошли легче, и тут пульманы, деревья, земля закрутились вокруг Андрея. Он стоял на крохотном неподвижном островке, пытаясь уследить за кружением. Сигарета упала и тоже закрутилась...

«Бли-ин, – словно издалека удивленный голос Белого. – Бли-и-ин, я улетаю. Андрюх, держи меня...»

Это напугавшее их поначалу состояние потом понравилось. Хотя курить часто они опасались: у отца Белый сигареты таскать не решался, а папа Топкина не курил. У взрослых дядь в десять лет не поклянчишь: возьмут и отведут к родителям.

В итоге заядлыми курильщиками не сделались. Могли покурить, а могли и не курить неделями. Топкин удержался и от привязанности к анаше, пил время от времени, а вот Белый... Но это всё позже. А сейчас им по пятнадцать, и они идут к остановке, чтоб уехать на дачи и в первый раз по-настоящему бухнуть.

«Так, теперь через дворы или по Кочетова?» – тихо, чтоб не слышали идущие сзади девчонки, спрашивает Боб.

«Давай по Кочетова, – предлагает Саня Престенский, еще один одноклассник Андрея. – Во дворах старшаки торчать могут».

Через дворы было короче, чем по широкой улице, названной в честь красного партизана Кочетова, но действительно опасно. Как раз в тех пятиэтажках, стоящих буквой «Г», обитали самые лютые бугры их части города. Совсем недавно самые лютые обитали в соседнем квартале, но их посадили в прошлом году: обчищали дачи. Не просто воровали, а били банки с соленьями, окна, ломали мебель в домиках, гадили на диваны, кровати. Непонятно даже зачем. Вынести что-нибудь ценное было, в общем-то, в порядке вещей, а разгром... Суд был показательный, в кинотеатре «Пионер». Учеников старших классов почти насильно водили на заседания – парни были из их же школы.

На суде обвиняемых спрашивали: «Почему вы это делали? Почему уничтожали то, что люди создали своим трудом?» В голосе спрашивающих слышалось явное желание понять.

Парни молчали. На последнем слове тоже не сказали ничего внятного. И прощения не просили, не клялись, что больше не будут. Рты мямлили что-то невнятное, а глаза блестели злобой.

Их было шестеро. Пятерым дали от трех до пяти лет – у некоторых уже имелся условный срок, – а шестой отскочил: на момент совершения преступлений ему не исполнилось четырнадцати лет.

Его стали чмырить взрослые парни – типа дружки твои сели, а ты на воле припухаешь, – и он не выдержал: взял и ткнул одного из наезжавших шилом. Пробил желудок. Его посадили...

На фиг быть крутым, лучше по-тихому... За крутизну нужно было бороться. Иногда буквально не на жизнь, а на смерть. Одна драка Бессараба с Армяном чего стоила.

Это были двое бугров опять же из их школы. Старше Топкина на год. С октябрят боролись, кто из них круче. Но до края не доходило. А тут – в девятом классе, весной – дошло. Назначили время, выбрали место. На побоище – к хоккейной коробке за гаражами – сошлось полшколы. Растянулись за деревянным ограждением, снаружи, чтоб, если что, скорей убежать.

Армян и Бессараб сняли свои синие школьные пиджаки, постояли друг перед другом. И понеслось. Без словесного разогрева, раскочки. Сначала бились по-боксерски с элементами каратэ и эковских обманок, а потом перешли на борьбу. Коробка была заасфальтирована – легче заливать лед, – и бугры старались посильней хлопнуть один другого головой об асфальт. После каждого хлопка по серому покрытию коробки расплескивались струйки сочно-алой молодой крови.

Понимая, что драка будет до талого, зрители стали проявлять симпатии: те, кого гнобил Бессараб, болели за Армяна, те, кого – Армян, просили Бессараба загасить его. Возникли мелкие махачи среди зрителей.

Видимо, обратив внимание на сотню подростков вокруг хоккейной коробки и копошащихся в ней двоих, подошли мужики. С трудом, как сцепившихся собак, растащили полуживых, измазанных весенней пылью и кровью Армяна и Бессараба. Те заплаканными глазами отыскивали друг друга, выбрасывали содранные до мяса кулаки, скалились. И Топкина поразило тогда, что рвутся они, не крича оскорблений, не матерясь. В жутком молчании. Словно никакие крики и мат не усилят их ненависти, такой ненависти, которая не позволяет им жить рядом на этой земле.

И после этой драки Бессараб куда-то делся, а Армян доучился до конца девятого, получил аттестат о неполном среднем. Время от времени он появлялся в школе, стрясал деньги с бывших одноклассников, с младшаков... Вскоре женился, и всех удивило, что женой его стала самая примерная, красивая его одноклассница. Подумали: решил стать нормальным, а жена поможет. Но почти сразу после свадьбы его посадили за жестокий разбой очень надолго. С тех пор Топкин его не видел.

Таких историй было полно. И в их школе, и в других. Вообще, в совсем небольшом Кызыле в восьмидесятые шла почти что война. Враждовали не только разные части города: «Пионер» с «Найыралом», «Восток» со «Спутником», «Гора» с «Шанхаем», левобережные с правобережными, но и кварталы – семь-десять пятиэтажек – между собой. Пацаны могли учиться в одном классе, дружить в первой половине дня, а во второй караулить друг друга на границе квартала, чтобы разбить нос зашедшему на не свою территорию.

Драки порой заканчивались серьезными травмами, а то и смертью. Кого-нибудь сажали. Позже подростковое хулиганство, бескорыстное по сути, переросло в бандитизм. И суды, сроки стали случаться чаще...

Всё это происходило в то время, когда Кызыл был «русским» – процентов восемьдесят населения составляли люди некоренной национальности. А когда году в девяностом молодые воинственные тувинцы из районов – «злые бесы», как их называла русская молодежь, – начнут нашествие на город, тех решительных, смелых, драчливых парней уже не останется. Переведутся. Перебьют друг друга, будут сидеть по зонам. И русские – «ёные орусы» по определению

«злых бесов» – без сопротивления побегут на север – в Красноярский край или еще дальше по распадающемуся Советскому Союзу. Побегут и многие одноклассники Андрея Топкина...

Это в будущем. Пока Андрей с ребятами и девчонками ничего этого не знают. Они обходят опасные места.

Остановка находилась на краю Молодежного сквера. Сквер был редким зеленым островком в степном, хоть и находящемся у большой реки городе. Здесь росли не только выносливые к жаре, засухе и морозу тополя – прижились лиственницы, березы (их вырубili в начале девяностых), тальник в низинах, кусты шиповника, жимолости.

Сквер был отличным местом для игры в войнушку, казаки-разбойники, идеальным уголком для прогулок с понравившейся девушкой, поцелуев на узеньких дорожках... Правда, можно было опять же нарваться на старшаков, которые запросто, желая показать девушке, какое ты чмо, потребуют вывернуть карманы или велют принести через пятнадцать минут пачку сигарет с фильтром – независимо, четырнадцать тебе лет или семнадцать. Но нарыв на старшаков был в сквере не самым страшным: сюда часто совершали вылазки правобережные.

На правом берегу Енисея жило мало людей. Несколько кварталов избушек, десятка два шлакоблочных двухэтажек. Рядом, у подножия широкого увала, – огромная свалка, называвшаяся официально «полигон бытовых отходов», АТП, какие-то предприятия, маленькие, но щедро дымившие своими невысокими трубами, тут же – тюрьма.

Правобережные считали себя обделенными, жителями задворков, поэтому ненавидели более благополучных левобережных и остервенело месили им рожи кулаками и ботинками, а то и велосипедными цепями...

Сегодня обошлось – удачно добрались до остановки; минут через десять подошел автобус, и, хоть желающих уехать на свои участки в этот сентябрьский субботний вечер оказалось много, получилось забраться в середину желтого кособокого от частого перегруза ЛиАЗа. Там, в середине, давка была слабее. Марина Лузгина даже села, и ей на колени поставили рюкзак с драгоценной брагой. Топкин стоял рядом с Ольгой, чуть сзади, и при каждом толчке прижимался бедрами и пахом к ее бедрам и попе – и мягким, и упругим одновременно.

Когда автобус поднимался в гору по улице Салчака Токи, Андрей осмелел и, как бы придерживая, обнял Ольгу за талию, положил ей ладонь на тугий впалый живот. Ольга не сбросила руку, не отстранилась. Наоборот, как-то еле уловимо подалась к нему.

* * *

– Господин Томин!.. Господин Томин, мы отправляемся!

Топкин обернулся на настойчивый голос и увидел встречавшую их группу девушку. Она с некоторым недоумением смотрела на него.

– А, да, иду!..

Дождь был мелкий, но плотный, и Топкин чувствовал, как его волосы напитались влагой. Правда, негустые уже волосы, не то что раньше – плотная шапка проволоки: даже машинка парикмахера буксовала, а когда стригли ножницами, раздавался треск.

– Господа, поторопитесь, – говорила девушка засовывающим чемоданы и сумки в багажную нишу над днищем автобуса, – здесь разрешено стоять не более трех минут... Проходите, проходите в салон, – это уже ему, Топкину.

– Спасибо.

Он поднялся в теплое нутро автобуса. Сел к окну. Утерся носовым платком, понаблюдав за суетой размещения и достал бутылочку. Отпил немного. Все равно скоро спать. Дождь к тому же... не погуляешь.

– Быстро совершаю переключку! – голос в микрофон. – Пожалуйста, Аверьяновы, четыре человека.

– Здесь, – взметнулись дружно четыре руки.

– Арбузовы, два человека.

– Присутствуют...

Двери автобуса мягко закрылись. Тронулись.

– Васильев.

– Я, – густой бас.

– Хорошо... Дроздовы, трое...

Ожидание своей фамилии утомляло; скорей бы услышать, откликнуться и задремать...

Топкин сделал еще глоток и съел ломтик шоколадки «Таблерон».

Автобус остановился.

– Мы отъехали на свободный участок, – объяснила девушка. – Продолжим... Если кого-то нет, будем искать.

– Да все тут! – заявил мужской голос, явно нетрезвый. – Париж хочу быстрее!

Девушка не обратила на этот выкрик внимания:

– Савельева.

– Здесь.

– Суровцевы, три человека.

– Мы! – детский звоночек.

Топкину стало мутно от этого голоса. Так бы мог выкрикнуть и его сын Даня. Мог сидеть здесь рядом... Наверняка в Диснейленд проситься бы стал, Топкин бы мягко отказывал – билеты дорогие, то-сё... А потом бы повез.

– Том... Топкин.

– Я, – негромко, но четко сказал он и облегченно отвалился, нашарил рычажок и откинул спинку, почти лег. Слава богу, сзади никто не возмутился.

– Юренёва.

– Тут!

– Всё. Спасибо! – Уже не озабоченный, а приветливый голос: – Спасибо, что вы оказались столь дисциплинированными и мобильными... Итак, я приветствую вас на французской земле. Меня зовут Анна Потапова, и я помогу разместиться вам в отелях. Мы отъезжаем от аэропорта Орли. Дорога до района, где размещаются наши отели, составит порядка тридцати пяти – сорока пяти минут. Позволю себе занять это время полезной, на мой взгляд, информацией о Париже...

Почему они не ездили тогда на дачи каждые выходные? Девчонки отказывались. Ломались... боялись... Да и они, парни, вели себя не очень. Дурачки. Тоже, подобно буграм, всё понтовались, пытались из себя что-то корчить... Зачем, например, в тот раз так нажрались этой браги?

Доехали отлично. И по дороге без слов, разговоров все еще больше сблизились. То есть сблизилась пары. Топкин с Ольгой, Белый с Мариной, Боб с Ленкой, Саня Престенский с Юлькой. Конечно, симпатии обозначились давно, но за эти полчаса стали, казалось, прочными.

Дом Боба стоял в старой части дачного поселка – первая остановка, третий переулок.

Когда-то, в начале восьмидесятых, дач в Кызыле почти не было. На правом берегу, в тополево-м лесу, находилось десятка два просторных участков для партийной, творческой верхушки республики. Остальным как бы и не требовалось. Во-первых, овощами и основными фруктами вроде яблок, груш город снабжался исправно, а во-вторых, Кызыл больше чем наполовину состоял из частного сектора – изб с огородами. Да и у многих жильцов пятиэтажек были в городе клочки земли – три-шесть соток, – на которых можно было выращивать морковь, лук, редиску, немного картошки, корней двадцать помидоров.

Но в середине восьмидесятых начались перебои с продуктами, плюс к тому частный сектор в центре сносился, на его месте строили многоквартирники. И по обоим берегам Енисея стали разрастаться дачные кооперативы.

Родители Пашки Бобровского одними из первых получили землю под дачу на левом берегу. Теперь здесь стояли крепкий бревенчатый дом, баня, сарай, крошечный сад – с десяток вишен, яблонь, ранеток... Третью участка занимала картофельная деляна.

Сейчас картошка была уже выкопана, из подсохшей земли высывались зазеленевшие от солнца клубеньки, которые из-за мелкости не стали собирать.

Пацаны без промедлений соорудили посреди делянки самодельный мангал из кирпичей, развели костер. У Юльки была с собой замаринованная баранина, у Ольги – дефицитные сосиски.

«Может, затопить баню, а?» – предложил Боб с таким явным подтекстом, что даже парни испуганно отказались.

Белый увидел в домике удочки:

«Чуваки, а давайте порыбачим! Самый момент сейчас».

«Какой момент?» – не поняла Марина Лузгина.

«У рыбы жор как раз перед зимой. Клевать должно бешено... Айда на Енисей!»

Идея пойти на Енисей девчонок почему-то очень воодушевила. Пацаны, уловив в этом воодушевлении некий намек, поддержали.

Наскоро, не на углях, а на огне поджарив куски баранины и сложив их в мутный, не раз, видимо, стиранный целлофановый мешочек, перелив брагу из одной банки в три бутылки, закупорив их пробками, отправились на реку. Да, и червей накопили – черви были жирные, маслянистые, ленивые. Даже не очень сопротивлялись, когда их хватали пальцами, бросали в консервную банку из-под горошка.

До берега было метров триста. Но в том месте рыбалка осенью никакая – залив со стоячей водой, который лишь в половодье превращался в протоку. Тогда – в мае-июне – можно там натаскать ельцов и сороги, а сейчас – в лучшем случае пескарей; скорей же всего, мальки всех червей обсосут. Поэтому направились слегка влево, ниже по течению. Там перекаты.

С собой несли две удочки, на всякий случай – снасти в офицерском планшете. В удачную рыбалку не верилось, хотелось просто побыть на берегу. На даче еще успеют наторчаться.

Перед тем как закинуть, жажнули по полстакана сладковатой, отдающей дрожжами браги, закусили мясом. Девчонки тоже выпили, но понемногу, проверяя, крепкая ли она, или так – морсик...

Распустили лески, наживили крючки, бросили. Рыбачить стали Саня и Белый. Андрей сел рядом с Олей на ствол упавшей ивы, смотрел на бегущий поток Енисея, бурунчики, возникающую и исчезающую пену, на противоположный берег – голые, зеленовато-желтые увалы. Знал, что Оля смотрит туда же. Скучный вроде бы пейзаж для них был родным, не утомлял глаза.

С неделю назад случились заморозки, мошкару и комаров в основном побило, но редкие еще пищали над головой. В траве вяло потрескивали кузнечики, пытаясь радоваться последним теплым дням.

Солнце сползло на край неба, вот опустилось за шапки тополей, и сразу похолодало.

«Не клюет ни фиги, – вернулся к остальным Саня. – Трех червей сменил, и ни одной поклевки».

«Жаркий день был, спит еще рыбешка», – сказал Боб.

Что-то дернуло Андрея поймать кузнечика и надеть на крючок вместо червя. Забросил на сам перекаат. Поплавок – кусок пробки с торчащей в центре спичкой – поскакал по волнам, а потом, когда течение успокоилось, закрутился над ямкой ниже перекаата. Закрутился – и вдруг исчез. Мгновенно, но мягко, без всякого всплеска. Андрей даже не понял поначалу – туповато

искал поплавок на поверхности, думал, что просто потерял из виду. Но тут леска натянулась, конец удилица изогнулся.

Рванул удилица вправо, в сторону переката, а потом сразу вверх. И почувствовал на крючке серьезную тяжесть... И вот в слепящих брызгах боковых лучей солнца – извивающееся, серо-розовое.

«Бли-ин, ленок!» – сдавленный крик Белого.

Рыба шлепнулась на траву и там уж сорвалась с крючка, запрыгала к воде. Ее настиг Саня, прижал, ударил кулаком в голову.

Долго рассматривали добычу, взвешивали на руках.

«С полкило будет».

«Но, не меньше!»

«Тело-ок!...»

Андрей оглянулся на Ольгу; она смотрела на него с гордостью. От этого взгляда, короткого – Ольга тут же отвела глаза, – у Топкина дернулось в паху и стало распрямляться, расти, дыбя ткань штанов... Да, как тогда член стоял, в пятнадцать лет! По утрам часто не мог сходить в туалет: толстый, стальной прочности штырь торчал вверх – как тут помочишься? Тем более в тесной коробочке, где от двери до унитаза полшага.

«На кузнеца взяло? – толкал Андрея Белый. – На зеленого? Коричневого?»

Поймали кузнечиков, надели на крючки.

«Задние лапы оторви лучше, – советовал Боб. – Он ими рыбу отпугивает».

«С фиги ли! Наоборот, вибрацию в воде посылает. Дрюнь, ты тогда лапы отрывал?»

«Нет», – мотал головой Топкин, слегка ошалев от возбуждения.

«Вишь, Боб, не надо».

«А, как хочешь. Закидывай!»

«Не ори, распугаешь всё...»

Бросили снасти в то же самое место, в каком поймал Андрей. Сам он больше не рыбачил, вернулся к Ольге.

«Молодец», – сказала она и снова коротко, с гордостью за него и, кажется, обещающе взглянула.

Он улыбнулся:

«Повезло».

«Посмотрим. В любом случае – мы с рыбой».

«Мы», – повторил про себя Топкин и потом еще долго повторял: «Мы... мы». «Мы» – это она, Ольга, и он, Андрей. «Мы» – какое хорошее, надежное слово. И он обнял ее за талию, гладил осторожно, слегка, укрытое под ветровкой ее тело. Можно было залезть пальцами под ветровку, под кофточку, добраться до кожи, но он не решался... «Позже... скоро...»

Да, ему, конечно, повезло поймать первому, но и остальные пацаны не остались пустыми – кузнечиков отлично хватали и ленки, и крупные ельцы. Штук пятнадцать надергали за полчаса.

«Жалко, соли нет, – говорил Боб. – Была б соль, я бы прям счас ленка съел. Он самый вкусный, когда жабрами шевелит».

«Фу!» – сморщилась Лена Старостина, которая считалась его девушкой, фигуристая, с яблочным румянцем на щеках.

«А что? Это природа».

Допили на берегу взятую брагу, которая незаметно, но надежно напитывала кровь алкоголем, собрались и уже в сумерках пошли на дачу.

Там еще бухнули. Боб, правда, с запозданием – жабры у ленка уже не шевелились, – исполнил свое желание: пальцем распорол брюшко, стянул кожу к хвосту и, посолив, впился зубами в розоватое мясо над хребтиной.

Девчонки схватились за рты и отвернулись, а пацаны стали доказывать, что вкуснее в натуре ничего быть не может. Вдобавок стыдили девчонок:

«Вы ж сибирячки!»

Повторили то, что сделал их старший друг и хозяин дачи. Андрей, ясное дело, много раз ел слабосоленую рыбу, пробовал и хариуса с приличным душком, а чтобы вот так – свежеморозовленную, непромытую... Но понравилось – мясо ленка, слегка приправленное крупинками соли, имело свежий вкус чистой воды, холода.

«Жалко, водки нет, – сказал Белый, облизываясь. – Под водку бы – лучше нет».

«А ты и водки успел попить?» – прищурилась Марина, высокая, с умным лицом, добрыми глазами; с ней Белый давно уже был в попытках настоящих отношений.

«Ну так... немножко... – испугался он этого прищура, заметил гитару и, хотя она оказалась расстроена, заиграл, стал петь тему из фильма “Асса”: – “В моем поле зренья появляется новый объект...”»

Пьяноватые пацаны подхватили:

«Иду на вы! Иду на вы!»

Девчонки заткнули уши:

«Хватит горлопанить!»

Брага настигла резко и почти всех одновременно. Пацанов настигла. Девчонки с сожалением смотрели, как они расплзаются по кроватям.

Ловящего в тяжелой дреме вертолетики Топкина пихнул Белый:

«Двинься, блин. Меня бабы с моего места согнали».

Андрей пошевелился, и тут же внутри булькнуло скисшими помоями выпитое и съеденное. Вскочил, побежал на улицу. Долго блевал с крыльца на куст смородины.

А утром первым делом наткнулся на брезгливо-презрительный взгляд Ольги... Через долгие и много вместившие в себя восемь лет, в девяносто шестом, она снова так будет смотреть на него. А потом скажет: «Я уйду от тебя, Андрей. Ты не тот, с кем я готова прожить свою единственную жизнь».

* * *

– Коль, гляди! – женский вскрик в темном салоне. – Гляди, собор Парижской Богоматери!

– Где? Не вижу.

– Да вон, глаза разуй!

Большинство пассажиров уставилось в мутные от стекающей по ним воды окна; кто-то тёр запотевшее стекло. Топкин тоже пытался что-нибудь рассмотреть.

– Ничё не видать... Льет-то как!

– Не дай бог всю поездку такая погода...

– Да не Нотр-Дам-де-Пари это, – насмешливый голос пожилого мужчины.

– А что еще? Две башни такие...

– Тут таких церквей через одну.

– Все равно мы уже в центре где-то. Скоро приедем.

Топкин прикрыл глаза. Да, скорей бы...

«Собор Парижской Богоматери» он не читал. Пробовал лет в четырнадцать, но стало скучно... Вообще в то время, в том возрасте читать книги было скучно. Хотелось жить. Казалось, ничего на свете нет важнее, пустят его, семиклассника, на школьную дискотеку, или на входе в актовый зал со сдвинутыми к стенам сиденьями завернут: иди домой, сопель. На дискотеки в их школе его в таком возрасте не пускали точно: по чьему-то указу на дискачи дозволялось ходить с восьмого (нынешнего девятого). А Топкину хотелось, очень нужно было – в седьмом. И не ему одному, понятно.

По субботам около семи вечера по городу метались стайки подростков со вздыбленными, для того чтоб казаться выше, волосами, в бананах, реже в джинсах «Тверь», в пестрых свитерах или в футболках с надписью “*SUPER*”, “*USSR*”, в кроссовках или остроносых лакированных туфлях на каблуке. Стайки перебегали от школы к школе и пытались проникнуть в пространство, где гремела музыка, а под потолком вращался зеркальный шар, осыпая танцующих блестками отсвета.

«Гремела музыка...» Нет, музыка не гремела, какие бы мощные ни качали звук колонки. Музыка лилась. Та музыка – лилась. Нежная, сладко-грустноватая. От нее хотелось и плакать, и обнимать, гладить, любить. Диско... Названия групп и фамилии исполнителей передавали друг другу с притдыханием, как нечто секретное, святое.

«Модерн Токинг», «Джой», Си Си Кейч, «Арабески», «Пет Шоп Бойз», «Бэд Бойз Блю»...

«А это, – уловив первые аккорды, шептал кто-нибудь дрожащим голосом, – Лиан Росс. Это вообще...» И скорее искал девушку, к которой можно прижаться и затоптаться в блестках под песню, в которой даже слабо-слабо знающий английский мог расслышать: «Скажи, что ты никогда, никогда, никогда не покинешь меня». И хочется ответить той, с кем танцуешь: «Никогда не покину».

Иногда, редко, звучало диско на русском. Переводы Сергея Минаева песен «Модерна» на дискачах ненавидели и свистели, требуя убрать, зато каждая композиция «Миража» вызывала восторженный визг девушек, срывающихся с сидений в центр танцевального зала.

Топкин в то время, году в восемьдесят восьмом, не особенно вслушивался в слова и не мог понять, почему девчонки так любят «Мираж». Потом уже, обзаведясь магнитофоном и кассетой с альбомом «Звезды нас ждут сегодня», понял: тексты-то, смысл такой смелый, протестный просто! Парни по квартирам слушали и сжимали кулаки под цоевское «Перемен!», а девчонки томились в ожидании перемен под спрятанное за красивой мелодией, но спетое каким-то неживым, потусторонним голосом: «Завтра улечу в солнечное лето, буду делать все, что захочу».

В восемьдесят восьмом для четырнадцати-семнадцатилетних девчонок это был самый настоящий призыв к бунту.

И они бунтовали – верили, что после встречи с сильным парнем «все будет всерьез», и шли с ним из «старого дома» туда, где «прекраснее, чем сон», а на самом деле – за гаражи или в заросли тальника. А потом, брошенные, кидались на соперниц, резали вены, бросались с балконов, топились в Енисее...

Конечно, подобное было всегда. Но только тогда, в восьмидесятые, это происходило под нежную музыку с жуткими по сути своей словами: «Люди проснутся завтра, а нас уже нет».

И парни... Парни бились за признанную красавицу квартала так, будто других девушек вокруг не существовало. Других, тоже симпатичных, милых, юных, не замечали, а ради одной схлестывались насмерть. И «леди Ровена» квартального масштаба к двадцати годам могла похоронить пяток погибших ради нее парней-рыцарей.

Впрочем, оно того, наверное, стоило: самые красивые девушки – в Кызыле. И самые страшные парни тоже там. Девушки еще остались, а парни – были. Парни переубивали друг друга в восьмидесятые, а оставшиеся полегли в девяностых, когда тувинская молодежь из районов завоевывала город, когда полыхала бандитская война...

Чаще всего удавалось попадать на дискотеки в первую школу. Не в ту, какой она стала чуть позже, переехав в свежий, из красного кирпича, построенный по московскому проекту комплекс на улице Красноармейской, а в старую – двухэтажный покосившийся дом на углу Чульдун и Щетинкина-Кравченко.

В эту завалюху мало кто хотел ходить – бугры уж точно, – а субботние дискотеки проводить было надо. Поэтому учителя и дружинники из комсомольского актива смотрели на воз-

раст проходивших сквозь пальцы. Помогало миновать дежурных присутствие в их толпе Боба. Он выглядел слегка старше остальных – на четырнадцатилетнего уж точно не тянул.

Боб шел первым, его пропускали без всяких, а, скажем, Андрея тормозили, начинали выяснять, сколько ему, в каком классе.

«Да мы из одного – восьмой “в”. Пятнадцатая школа. Он малорослик просто, блин. Вечно с ним что-нибудь...»

Чаще всего учителя и дружинники велись на эти слова.

Повесив полушубки и пальто – если дело было зимой – в раздевалке, заходили в туалет и... Нет, не жабали алкоголя, а выдавливали в рот зубной пасты. Растирали ее языком по зубам, нёбу. Потом слегка, чтобы аромат пасты не исчез, споласкивали рот. Надеялись целоваться. Или хотя бы потанцевать медляк с девушкой.

Бывало, у кого-нибудь оказывалась дефицитная жвачка – жовка, и превратившийся в колобок пластик «Мяты» Госагропрома кружил голову, как шампанское, и бросал туда, где звучал на полную мощь плавный нежный музон, мигали разноцветные фонари, пахло духами, молодым потом, парами вина, горячей пылью.

* * *

– Кто в «Альтоне»?.. Кто заселяется в «Альтону»?.. Томкин... Топкин... Где господин Топкин?!

Топкин вздрогнул, вскочил:

– Я здесь!

– Ну что же вы? – Девушка Анна досадливо смотрела на него. – Задерживаете остальных. Пойдемте.

Топкин, чувствуя неловкость, но не из-за того, что кого-то задерживает, а что его отчитали – подумаешь, задумался, – выбрался из автобуса.

– Сюда! – указала Анна на стеклянные двери, пряча лицо от дождя.

Только вошли – мягкий голос и улыбка молодого то ли индийца, то ли пакистанца (хотя это вроде одно и то же) за стойкой:

– Бонжу-у!..

– Где ваш ваучер на отель? – Анна просто била копытом от нетерпения.

– Где-то был... – бормотал Топкин, копаясь в пластиковом конверте с выданными в турфирме документами. – Здесь где-то...

– Позвольте, я посмотрю. – Анна забрала конверт. – Я ведь просила приготовить заранее... Мы до утра будем колесить...

Топкин смолчал, но злость на нее все росла. Заплатил кучу денег за пять дней отдыха, а ему выговаривают.

– Вот, есть! – Девушка нашла нужную бумажку, подала индийцу, сказала что-то по-французски. Тот что-то ответил.

– Ну всё. – Мгновенно успокоившись и вновь став приветливой, девушка повернулась к Топкину. – Сейчас он внесет вас в компьютер и выдаст ключ от номера. Хорошо провести время в Париже, – улыбнулась – вряд ли искренне, но все равно приятно – и выбежала на улицу.

Служащий отеля пошелестел клавишами, тоже с улыбкой протянул Топкину ключ с тяжелым, как гиря, брелоком. Что-то сказал.

– А? – забеспокоился Топкин, не находя в его фразе знакомых слов: на брелоке номера комнаты не было.

После некоторых усилий удалось выяснить, что его номер двадцатый, на шестом этаже. Нужно подняться на лифте, а потом еще по лестнице.

– Мерси...

Жилище ему понравилось. Он знал, что гостиницы для туристов его ранга здесь не отличаются особыми удобствами и простором, но его номер был наверняка не худшим вариантом. Может, потому, что находился под самой крышей.

– Мансарда, – вспомнил Топкин название.

Широкая кровать, телевизор-плазма под потолком, холодильник, длинный и узкий то ли стол, то ли полка вдоль стены с окном. Из окна – вид на улицу, а не в глухой двор с кирпичной стеной, чем Топкина пугали дома бывавшие в Париже.

Но не это по-настоящему обрадовало и удивило его, а то, что в туалете, в наклонном потолке, было окошко с открывающейся вверх рамой. Точь-в-точь как в фильме «На грани безумия».

Достал остатки виски, шоколада. Сел на кровать, глотнул, похрустел ломтиком «Таблетона»...

Где смотрел его в первый раз? Говорят, теперь у фильма другое название, а это – «На грани безумия» – было дано советскими переводчиками...

Мощный фильм. Как какой-то немолодой американский ученый со своей такой же женой прилетает в Париж, и там жену сразу похищают. Муж-ученый, дряблый ботаник, начинает ее искать, превращаясь почти в супермена. Ему помогает француженка с потрясающими ногами. Топкин недавно увидел в интернете фотки ее нынешней – стареющая одутловатая тетка. А тогда, лет двадцать пять назад... Сколько спермы он выбрызгал из себя, представляя ее рядом... Как она танцевала там, на экране! Как обмякла, раненая! Как хотелось ее унести, спасти, сделать своей...

И вот эта француженка жила в подобной квартирёнке – комната и туалет с окном в потолке.

Топкину хотелось думать, что впервые он посмотрел «На грани безумия» в одном из видеосалонов. Их тогда, под конец восьмидесятых, пооткрывалось в городе уйма. Поначалу почти нелегальных, в каких-то подсобках, подвалах. Адреса узнавали через знакомых, договаривались о посещении несколько дней. И вот наконец, отдав рубль, садишься перед телевизором и смотришь вместе с еще десятком людей необыкновенный фильм. «Терминатор», «Кобра», «Кошмар на улице Вязов», «Зомби в универмаге», «Рэмбо»... Гипнотизировало не столько происходящее на мутноватом выпуклом экране «Садко» или «Радуги», сколько монотонный голос переводчика, от которого бегали меж лопаток ледяные мурашки, рябь плохой пленки, сама атмосфера опасности, ожидание того, что сейчас ворвутся менты и начнут проверять, сколько кому лет, допрашивать...

Особенно часто пацаны смотрели фильмы с Брюсом Ли – «про Брюса», как говорили в то время. Главным был, конечно, «Путь дракона» и сцена драки Брюса и Чака Норриса.

Все замирали, боялись даже дышать. Из слабого динамика плыла тревожная медленная музыка, слышалось, как хрустят суставы Норриса и Брюса Ли во время разминки. Брюс жилистый, гуттаперчевый, а Норрис мясистый, в рыжеватой шерсти. И вот, размявшись, сходятся. В глазах нет злости, наоборот, уважение друг к другу, но и уверенность: кто-то из них двоих должен сейчас погибнуть... Из развалин за ними наблюдает беспомощный котенок. Котенок мяукает, и Брюс бросается вперед...

«Слушай, повтори еще раз!» – просили парня, заправляющего видаком. Нужно было запомнить каждый удар, каждый прыжок, каждое движение. Понять, как Брюс убил Чака. (Ломание шейных позвонков в то время еще не было популярным способом убийства в кино.)

«Приходите завтра – позырите», – беспощадно отвечал парень.

«Да блин, нам один кусок».

«Нельзя. Меня выпрут за это. В кино же не говорите, чтоб перемотали».

«Завтра тогда мне место оставь, ладно? Постараюсь прийти».

И в следующий вечер, если появляется рубль, снова бежишь в подвал и смотришь...

Очень быстро салоны сделались официальными; на дверях вывешивали расписание.

Сеансы обычно начинались часа в два дня. Сначала показывали мультики типа «Тома и Джерри», потом два-три боевика, ужастика или комедии, а почти ночью – «порнуху». Ограничение «до шестнадцати» действовало и здесь, но иногда удавалось проникать на такие фильмы четырнадцатилетним, пятнадцатилетним... «Горячую жевательную резинку», «Греческую смоковницу» и даже «Эммануэль» он, Андрюша Топкин, посмотрел еще тогда, в период видеосалонов.

Изредка показывали музыкалку – концерты Мадонны, «Кисс», «Металлики». Это было иногда круче боевиков.

Да, денег тратилось на видеосалоны немало. Экономии на школьных обедах, на газировке, копили по десятику, пятнадцатику...

В восемьдесят девятом в центральном кинотеатре «Найырал» (в переводе с тувинского – «Дружба») появился второй зал. Маленький, мест на тридцать, и там стали показывать видеофильмы, но уже не в телевизоре, а на экранчике, часто с многоголосой озвучкой. И очарование пропало. Фильмы и фильмы. Конечно, с крутыми драками, спецэффектами, но так, чтобы дух перехватывало, чтобы потом не мог уснуть от страха или перевозбуждения... Нет, такого уже не случалось.

Но, может, просто Андрей стал взрослее? В семнадцать твоих лет Фредди Крюгер уже не тот, что был в твои четырнадцать... Позже, когда у него появился свой видак, Андрей брал в прокате те фильмы, которые любил в юности, и многие не мог досмотреть до конца. Убожество, примитив, стыд просто и за режиссера, и за актеров, и за себя, что балдел от этого.

Видаки продавались в магазине музыкальных инструментов и разной электротехники «Аялга» («Мелодия») с середины восьмидесятых. Это была отечественная «Электроника». Серый жестяной ящичек, символизирующий дверь в иной мир. У группы «Мираж» даже песня была про видео: «Стоит нажать – и меня с вами нет».

Правда, цена этого ящичка была такой, что почти никто в городе даже не планировал его купить, – больше тысячи рублей. За такие деньги можно было обзавестись стареньким «Москвичом» или вполне сносным «Запорожцем».

Были видеоманитофоны и в комиссионках. Там стояли импортные – тонкие, черные. Они стоили вообще запредельно...

Комиссионные магазины – а их в Кызыле было два: один в здании той же «Аялги», а другой в глубине базара, в маленькой избушке, – посещали, как музей. Заходишь в избушку, и тебе в глаза тут же кидаются двухкассетные «Шарпы», джинсы «Монтана», «Леви Страусс», «Ли Купер», кассеты «Сони», дубленки, соболиные шапки, хрусталь, ковры...

У Топкиных был дома простенький хрустальный сервиз – графин, шесть рюмок и шесть бокалов, плешивый ковер на стене, цветной телевизор «Радуга», проигрыватель «Россия», магнитола «Рекорд-301». Папа когда-то, когда был молодым, записывал на бобины разные песни – от Магомаева до «Дип Пёрпл». Но Андрея бобинник не устраивал, да и какой смысл в этом, стоящем в зале, где вечно по вечерам кто-нибудь есть, сундуке. Он мечтал о своем, личном магнитофоне. Кассетнике. Пусть будет простенький вроде «Легенды».

В десятом классе ему наконец-то купили маг – «Томь-303», который очень напоминал один из магнитофонов «Сони» и звучал на первых порах просто отлично. Четкий такой звук – низкие, высокие частоты регулировались до грана.

С покупкой магнитофона появилась проблема фонотеки. Несколько кассет у Андрея было – откуда-то появились, как-то подобрались три-четыре с песнями Яака Йоалы, Анне Веске, Аллы Пугачевой, ансамбля «Боббисокс» и еще две чистые МК-60. Плюс еще одна кассета шла вместе с магнитофоном.

При помощи Белого, у которого была «Весна», записали на все эти кассеты диско-музыку. Соединяли маги шнурами, настраивали частоты... Завидовали тем, у кого двухкассетники: «Там, блин, без всяких напрягов – “запись” нажал, и понеслось».

Диско, правда, уже поднадоело к тому времени, тянуло к другому музону. Искали «Аэро-смит», «Квин», «Скорпионс» и, конечно, «Депеш Мод».

На базаре, этом островке экзотических магазинов – охотничьего, филателии, комиссионного, мясного павильона, где даже в годы жуткого продуктового дефицита можно было купить хорошего мяса, были бы деньги, – находилась студия звукозаписи.

На стене – стендик со списком групп и исполнителей. Сейчас уже трудно вспомнить, что было в тех списках, но их чтение будоражило, хотелось услышать это, и это, и это...

Сделать запись в студии считалось хорошим тоном. Ведь она предполагала настоящее качество. И хоть у большинства магнитофоны были простенькими – только бы какой звук воспроизводили, – все-таки стремились к лучшему.

Поработав исправно месяца три, «Томь» стала чахнуть: музыка зазвучала как-то размыто, плавающе, со все возрастающим шипением, и протирание головки и валика одеколоном помогало слабо. Потом порвался пассик, пришлось нести в ремонт. После ремонта «Томь» стала зажёвывать пленку... В общем, не повезло Андрею с первым магнитофоном.

Второй появился летом девяносто первого. Этот хоть и был куплен с рук, но служил безотказно. Настоящий японский «Панасоник». Наверное, он и сейчас работает – Андрей его давно не включал; коробка с кассетами – огромная, из-под телевизора – в углу комнаты, заброшенная разными тряпками. Может, уже и пленка осыпалась.

* * *

Лежал на кровати и уговаривал себя подняться, сполоснуть лицо и отправиться на улицу. Прогуляться по близлежащим улицам, найти, может, открытый магазин. Воду надо купить, поесть чего-нибудь да и выпивкой запастись. Уговаривал, а сам постепенно всё глубже погружался в дрему, наполненную прошлым: воспоминаниями о давнем и вроде бы сейчас, здесь, в парижском отеле «Альтона», совершенно ненужном...

Вообще, аскетичность жизни советских подростков, о которой Топкин нынче очень часто слышал по телику да и от теперешней молодежи, – миф. Запросы пятнадцатилетнего ребенка конца восьмидесятых родителям удовлетворять было наверняка не только сложнее, но и много дороже, чем такого же ребенка десятых годов двадцать первого века.

Почти каждый пацан и некоторые девчонки проходили через моду собирания марок. Конечно, отпаривали марки с конвертов, выменивали у сверстников на какую-нибудь ерунду, как считал в тот момент поглощенный собиранием, но в основном покупали в магазине «Филателия», пестревшем разнообразнейшими наборами из Венгрии, Либерии, Монголии, Кубы, Кореи...

Продавщица была, кажется, все время одна, без сменщицы, – русская женщина с тувинской фамилией Барбак-оол. Ее за глаза называли Барбакол. Продавщицу просили оставлять новые наборы – кто живописи, кто животных, кто спорта. Копили деньги, выклянчивали у родителей на понравившиеся.

У Андрея сохранились два альбома, забитых марками. Не так давно он заинтересовался, сколько какие стоят на филателистическом рынке. Долго копался на форумах в интернете. Оказалось, что его коллекция на девяносто девять процентов состоит из ничего не стоящих цветных бумажек. Да и те немногие марки, какими он по-настоящему дорожил, например двумя из довоенного набора «Перекоп», не превышают сорока рублей за штуку.

А ведь сколько потрачено на эту коллекцию тех советских, дорогих рублей!

Набор стоил редко меньше рубля. В основном же полтора-два. Полтора рубля умножаем на сто наборов. Сто пятьдесят рублей. Немалые деньги в то время. К тому же на марки менялись модели автомобилей, индейцы или пираты, сделанные эками ручки из разноцветных пластиковых кружочков, ножички-складешки... Все это в свое время покупалось или выменивалось на что-нибудь другое, но затем потеряло свою ценность по сравнению с марками.

Кто теперь из подростков собирает марки? Может, один из ста. А тогда один-два из ста не собирали и казались чужаками, не понимающими смысла жизни...

А эти модельки автомобилей! Теперь они во всех детских магазинах, киосках. Стоят не копейки, конечно, но и не столько, как году, скажем, в восемьдесят восьмом. Их коллекционировали далеко не все, но почти каждый пацан имел одну или две модельки. Это было своего рода делом чести.

Индейцы, пираты, ковбои... Не путать с солдатиками, что торчали в витринах «Детского мира»! Нет, индейцы, пираты, ковбои являлись произведением искусства.

Индейцы и ковбои были из твердой резины, раскрашенные. Пираты чаще всего – пластиковые, одноцветно-коричневые, но с массой деталей: складки на треуголке, пистолет за витым поясом, сабля с узорчатой рукоятью, пряжки на башмаках. В магазинах эти фигурки не продавались, но откуда-то поступали в их глухой, далекий от большого мира Кызыл.

Да нет, понятно откуда. В основном из ГДР, Чехословакии, Польши. В начале восьмидесятых в дом, где жили Топкины, въехала офицерская семья – главу семьи перевели из ГДР в их мотострелковую часть. Так паренек, сын офицера, привез целую армию индейцев и ковбоев. Ковбоев возглавляли несколько американских солдат в синей форме, таких, как в фильме про Чингачука. А у индейцев был вождь – сидящий у костра старик с богатым украшением из перьев.

Некоторое время Андрей дружил с этим пареньком, и они устраивали войны индейцев с ковбоями. Индейцы скрывались в горах, сделанных из одеял и подушек, а ковбои за ними гонялись, попадали в засады... Очень скоро его отца бросили куда-то в другое место, и имени обладателя сокровищ Андрей не запомнил.

В советских солдатиков играли редко. Во-первых, они, грубо наштампованные, были неинтересны, постоянно падали, а во-вторых, им просто не с кем было воевать – врагов почти не делали у нас.

Зато многие сами лепили солдатиков из пластилина. Тогда был тяжелый, затвердевающий, почти как глина, долго сохраняющий яркий, но не водянистый цвет пластилин.

Тут уж пацаны были хозяевами своих желаний: тщательно изучали форму красноармейцев, белогвардейцев, фашистов, американских морпехов, наших десантников, французских солдат времен Первой мировой и пытались копировать. Потом сражались. Можно было отрывать солдатикам ноги и руки, прокалывать штыком из заостренной спички или штык-ножом, которым служил зубец расчески.

Пластилин, конечно, нельзя отнести к большим тратам, удару по семейному бюджету. Но лепка солдатиков требовала не одной и не двух-трех пачек. Не пяти... Одно время у Андрея под кроватью в плоских коробках, накрытых от пыли газетами, стояли больше ста бойцов. Плюс несколько лошадей, десяток пушек, станковые пулеметы, при помощи пластилина превращенная в броневик гоночная машинка... В общем, материала для армий требовалось немало. А материал добывался за деньги в отделе «Канцтовары» магазина «Детский мир».

Но в основном увлечения и развлечения требовали немалых финансовых затрат.

К примеру, склейка моделей кораблей и самолетов. Стоили эти конструкторы недешево, и родители предпочитали покупать хоть и подороже, зато сложнее, со множеством деталей, надеясь, что сын как можно дольше провозится с каким-нибудь крейсером или линкором.

А аквариумы! Кому пришло в голову, что, если у тебя нет аквариума, ты чуть ли не чмо? И уговаривали родителей купить в магазине или с рук – у тех, кому надоело, – аквариум. К

нему, конечно, рыбок. Сначала гуппи, меченосцев, потом данюшек, барбусов, скалярий, неонов, сомиков. К аквариуму требовались фильтр, компрессор, лампа, водоросли, кормушки, улитки... Рыбкам требовался корм.

У Андрея был аквариум. Но не очень долго. Однажды он с ребятами пошел на болото за отличным, как ему рассказали, и халявным кормом – мотылем. Намыли с помощью сачка этих красных червячков, поделили, разошлись. Андрей раз-другой покормил им рыбок, а потом забыл. И как-то, проснувшись утром, Топкины увидели в квартире сотни вялых новорожденных комаров.

После этого мама стала относиться к аквариуму как к врагу, да и Андрей от него уже порядком устал. Тем более что рыбки часто умирали, вода зеленела, и ее нужно было то и дело менять. Папа и сестра были к рыбкам совершенно равнодушны. В итоге продали за какую-то мелочь и аквариум, и рыбок, и всё остальное парнишке года на два младше Андрея – тот рассчитывал при помощи аквариума обрести уважение одноклассников...

Не иметь велик – сначала «Бабочку» с двумя добавочными колесиками для удержания равновесия, затем «Школьник», а потом «взрослик» – тоже было для пацана позором, признаком неполноценности. Если родители не могли его приобрести, пацан пытался скопить денег и купить у кого-нибудь из старшаков или мечтал собрать сам. Обходил мусорки, копался в чермете в надежде отыскать сломанную раму, чтоб потом ее сварили мужики-ремонтники, руль, педали, колесо-восьмерку, которое можно выправить...

Лет с четырнадцати начинали мечтать о мотоциклах. Или хотя бы мопедах. В разговорах постоянно звучало: «Рига», «Карпаты», «Ява», ижак, «ЧеЗэт». А особенно часто – «Верховина».

«Верховина» была так популярна не потому, что считалась самой крутой, – просто «Верховину» родители реально могли купить.

От безысходности некоторые мастерили мотовелики. На «взрослик» устанавливали моторчик, бачок, усиливали заднее колесо. И – вперед, треща и дымя...

На мопеде и мотовелике далеко не уедешь – гоняли вокруг гаражей, по пустынным улочкам внутри квартала. Но те, у кого появлялся ИЖ, или «Днепр», или «Урал», отправлялись в дальний загород. Из них многие стали «плановиками» – добывали в степях анашу, пластилин, план, шишки, пыль, гаш...

У Андрея мопеда и мотоцикла никогда не было. Сначала хотел, но родители в то время ожидали, что папу вот-вот переведут на новое место службы – и что тогда делать с этой двухколесной тяжестью, – а потом Боб, у которого имелись «Карпаты», столкнулся на дачном перекрестке с машиной и месяца два прыгал с аппаратом Илизарова. Мода на мотики в их компании после этого заметно пригасла.

Старшаки бились серьезней. Некоторое время количество погибших в авариях конкурировало с количеством убитых в разнообразных драках. Особенно обсуждаемой стала авария, в которой разбился один из двух братьев Фёдоровых, считавшихся одними из самых главных бугров района, – Фёдор-младший. (Старший Фёдор вскоре сел за попытку отобрать пистолет у милиционера.)

Фёдор-младший шел через дворы со своей очередной телочкой и увидел возящегося с ижаком знакомого паренька. Фёдор попросил – точнее, потребовал – прокатиться. Наверняка бы действительно прокатился и отдал. Паренек вынужден был согласиться. Фёдор посадил подружку, рванул. И буквально через пять минут на бешеной скорости вцепился в лоб УАЗу. Девушка перелетела через Фёдора и машину и шлепнулась на газон. Что-то себе повредила, но несерьезно. А Фёдора просто размазало об УАЗ.

О нем пацаны не горевали – одной угрозой меньше. Телочка вскоре оклемалась и стала ходить с другим бугром. А вот пареньку сочувствовали. Попал он конкретно: мало того что мотоцикл превратился в груды железа, так еще стали крутить с одной стороны менты, с другой –

дружики Фёдора. Зачем типа дал, когда видел, что человек обкуренный в хлам? Почему вообще мотоциклом владеешь, когда тебе пятнадцать лет?.. Документы на транспортное средство где?.. А он и не катался почти на своем ижаке – так, иногда по двору. Ждал, когда ему исполнится шестнадцать, получит права... И вот за пять минут все рухнуло.

А нынче уже и не встретишь пацанов на «Карпатах» и «Верховинах»; мотоциклов тоже мало. Редко-редко кто-нибудь прожужжит на скутере...

Много денег тратилось на игровые автоматы. Не на те, что появились в девяностые, когда играли, чтоб разбогатеть, а по сути бесполезные – «Морской бой», «Снайпер», «Авторалли», «Воздушный бой»... Эти автоматы были в их городе в одном месте – на автовокзале, и там вечно толпились дети и младшие подростки. Несколько минут удовольствия стоили пятнадцать копеек. Вроде немного, но кому хватало одного сеансика? Появились настоящие игроманы; они воровали рубли у родителей, шарили по карманам в школьных раздевалках.

Некоторым спасением для таких стало появление карманных игрушек: «Ну, погоди!» – это где Волк собирает яйца, а потом и «Биатлона», «Хоккея», «Автослалома». Появились и импортные «Тетрисы».

Году в девяностом уже почти никто на переменах не бегал по коридорам – рекреациям, как их называли, – школьники стояли вдоль стен или сидели на подоконниках и ловили, ловили яйца, собирали шарики одного цвета...

А теперь в каком-нибудь айфоне или смартфоне можно и на мотике покататься, и в войнушку поиграть какими угодно солдатиками, и какие угодно фильмы посмотреть, музыку послушать, и фотографировать все подряд по сто раз, не жалея фотопленки, которой в айфонах или смартфонах попросту нет. Нынешние подростки и не знают толком, что это такое – фотопленка...

Почти каждый пацан в восьмидесятые хоть короткое время увлекался фотографией. А фотография – это не только фотоаппарат. Нужны бачки для проявки, ванночки, проявитель, закрепитель, фонарь, глянецватель, а главное – фотоувеличитель. «Хочешь разориться – купи фотоаппарат» – была такая поговорка.

Конечно, в Доме пионеров – одноэтажном деревянном здании неподалеку от их школы – существовал фотокружок, где можно было проявлять пленки и печатать фотки, в общем-то, задаром, хотя и в ограниченном количестве; можно было купить фотоувеличитель на две-три семьи (а семьи одноклассников-соседей, ясное дело, были знакомы, а то и дружили), но хотелось свой, личный увеличитель. Иметь свою лабораторию. Чтобы никто не мешал, не присутствовал при этом чуде, когда на красноватой от света фонаря бумажке, плавающей в розоватой от фонаря жидкости, вдруг начинают рождаться черточки, пятна, а потом возникает кусок мира, который несколько часов назад поймал в маленькую коробочку «Смены» или «Чайки», ФЭДа, «Зенита»... А вот – лицо, такое милое, желанное лицо Оли Ковецкой. Улыбается, так по-доброму смотрит, так ожидающе, словно хочет сказать: «Не бойся, не думай, что я не понимаю твоих взглядов. Но не веди себя как дебильный пятиклассник. Я все давно заметила и жду, когда ты подрастешь и решишься. А я уже выросла».

Осторожно трогаешь пинцетом ее волосы, лоб, щеки, подбородок, водишь по губам, гладишь железкой дорогую бумажку. Качаешь в теплом проявителе. Потом ополаскиваешь водой и переносишь в другую ванночку, с фиксажем. Снова трогаешь, гладишь. Потом промываешь в большой чистой ванне.

Промываешь долго, тщательно, чтобы ни через неделю, ни через двадцать лет на лице Оли не появились буроватые, как лишаи какие-нибудь, пятна, не вылезла язва... Потом осторожно глянцеуешь, стараясь не обжечь...

А вот возникает на бумаге Марина Лузгина. Она сидит на лавочке возле школы. Смеется чему-то, глядя в сторону, нога закинута на ногу. Марина в летнем коротком платье, и ноги видны высоко. Точнее, одна нога, которая сверху. От светлой туфельки-лодочки дальше, по

блестящей лодыжке и выпуклой икре к ровной коленной чашечке. Продолговатая и крупная, но в меру, в самую меру, ляжка. Подол слегка задрался, и она открыта почти вся.

Особенно притягателен изгиб этой ноги – четкая, словно художником прочерченная линия, почти правильная дуга. Глаз не оторвать.

Но Андрей оторвал быстро. Нельзя, это девушка Белого – его друга Димки Попова. Они еще не пара, но он знает: Марина – его.

Куда деть фотографию? Подарить Белому – он докопается: на фига ты ее так сфоткал, в такой позе? Вряд ли поверит, что Андрей и не заметил, глядя в глазок «Смены», что ноги Марины настолько открыты, так соблазнительны, что просто снимал их всех, и вот так получилось.

Сколько раз они плескались в протоке, сколько раз видел Маринку в купальнике – и ничего, не чувствовал этого странного волнения, а тут вдруг... Попытка отвлечься, но взгляд сразу возвращался к ногам, к этому изгибу, темной щелчке...

Высушив фотку, спрятал ее подальше, засунул между бракованными, неудачными. Постарался забыть и забыл. И она наверняка лежит среди бумаг, которые увез двадцать лет назад, переезжая из родной квартиры в ту, где он должен был долго и счастливо жить вместе с женой.

...Захотелось сейчас же найти фотку, увидеть. Не только Маринкины ноги, а своих друзей, прежними, юными... И Андрей на несколько секунд выпутался из дремы, приподнялся, огляделся в огнистой полумгле, понял, где он, и уснул теперь уже глубоко, без воспоминаний.

* * *

Голова не то чтобы раскалывалась – она не хотела варить. Густая, тяжелая чернота в мозгу.

Похмелья Топкин не испытывал уже давно – выпивал в меру, тем более проверенную водку, знакомое пиво из привычного магазина. Неужели в дьюти-фри паленый вискарь?..

Несколько минут он неподвижно сидел на кровати, глядя на жалующегося пожилого арабоподобного певца в телевизоре, медленно извивающихся рядом с ним молодых самок в купальниках.

– О-о-ой-й, – простонал в тон песне, сполз с кровати, увидел пачку сигарет, и захотелось курить. Но вместе с этим желанием, будто отзываясь ему, в животе забулькало, к горлу поползла маслянистая горечь.

Топкин передернулся, пошел в туалет. Постоял над унитазом, косясь в окно в скате крыши. Были видны два дома напротив и кусок улицы, разделяющей эти дома. Улица загибалась влево, уходила за углы других домов...

Представились городские пейзажи Утрилло. Очень похоже... Ну так Утрилло и изображал Париж, именно эти районы. И Топкин очнулся, заторопился. Да, да, скорее надо все увидеть, почувствовать!..

Спустил воду в унитазе; бачок, заполняясь, запел. Можно было решить, что это некий дефект, но мелодия была очевидна.

– Скучно не будет...

Изо всех сил энергично умывался, чистил зубы, полоскал горло. Вроде бы помогло – дурнота улеглась, в висках закололо, зато появились мысли. Пусть простые, примитивные, но смыывающие мертвую черноту с клеток мозга.

Как скорее раздобыть воду для питья? Из-под крана пить рискованно. Надо выяснить, сколько времени; надо позавтракать – завтраки в гостинице бесплатные.

Часы в мобильнике показывали 8:26. Это московское время – перевел в Шереметьево. Здесь, кажется, на два часа меньше... Половина седьмого... Завтракать рано, выходить на

улицу – тоже. Но внутри рос мандраж, страх чего-то важного не успеть, пропустить. Каждую минуту надо использовать...

Топкин достал из пластикового конверта программу пребывания. Зеленым маркером были выделены входящие в тур экскурсии. Так, с восьми пятидесяти до часу дня – обзорная экскурсия по Парижу с посещением Музея духов. Потом обед в ресторане «Панорама», а после него – прогулка по Монмартру, осмотр базилики Святого Сердца.

«Что за “святое сердце”? – задумался Топкин, перебирая в тугом сейчас уме достопримечательности. – А, блин, Сакре-Кёр!»

Вообще-то он считал себя знатоком Парижа. Несколько, конечно, смешного сорта знатоком – по книгам, телепередачам, фильмам. Но мало ли у нас до сих пор географов, знающих планету тоже заочно, учителей английского, немецкого, французского, которые никогда не были в странах, где население говорит на этих языках...

Сакре-Кёр нужно увидеть. Тем более что поселили где-то рядом. Топкин достал карту, взял со стола карточку «Альтоны», которую вчера выдали на ресепшене. Так, вот отмечен отель, и, если пойти на север, будет бульвар Рокхе... а, Рошешуар. Легендарный Рошешуар, где кабаре... нет, не «Мулен Руж», а даже более крутое, описанное Мопассаном; там Лотрек нашел свою главную тему – танцовщицы, проститутки, выпивохи... Да и «Мулен Руж» тоже где-то неподалеку. Где-то там и Пигаль, бульвар Клиши... Тихие дни в Клиши, крошка Колетт...

Ох, какой сушняк! И курить хочется. В номере запрещено...

Топкин пополоскал рот водой из-под крана, постоял перед окном. Осмотрел туалет – датчиков дыма вроде бы нет. Не выдержал, закурил, приподнял раму. В лицо, как кулак, ударил твердый поток холодной, почти ледяной сырости. Дым не вылетал наружу, а после выдохов закручивался барашками и возвращался в туалет.

Сделав несколько судорожных затяжек, Топкин сбил уголек сигареты в унитаз, окуроч сунул обратно в пачку. Закрыв окно. Продует, и придется вместо экскурсий тут с температурой валяться.

Надо было, конечно, летом ехать. Или хотя бы в сентябре, а не в конце октября. Но работы навалилось летом и в первые недели осени – не продохнуть. Один выходной оставили, по двенадцать часов впахивать приходилось... Заказ за заказом, причем всё по государственным программам, а не от частных лиц. Там и объемы другие, и деньги... Не всё, правда, выплатили, но обещают твердо. «До конца декабря стопроцентно все долги будут закрыты». С трудом верится, но в такой год обмануть не должны.

А год, две тысячи четырнадцатый, для Кызыла особенный. Да и для всей Тувы. Его ждали больше двух десятилетий. С тех пор как в начале девяностых временные трудности сменились разрухой, которая, в свою очередь, когда почти все было разрушено, превратилась в тоскливую серость, которой нашли научное определение – стагнация. Так прямо и говорили руководители республики: «У нас стагнация». Типа оправдывались, что требовать каких-то улучшений сейчас невозможно, бесполезно, просто нелепо. «Стагнация» – этакий всеобщий летаргический сон...

Население, от главы республики до последнего бомжа, ждало, что вот придет две тысячи четырнадцатый, и в мгновение ока жизнь изменится. Города и села преобразятся, зарплаты повысятся у тех, кто работает, а кто сидит без работы, на пособиях, – работа появится. Легкая, но денежная. А бомжей отмоют, поселят в специально выстроенных приютах и, главное, будут давать водки сколько захочешь... Короче, мечта каждого исполнится в этом году.

Две тысячи четырнадцатый – юбилейный. Сто лет назад Россия приняла Урянхайский край, который позже стал Тувой, под протекторат. Примерно – точных границ у Урянхия не было – сто шестьдесят тысяч квадратных километров степей, тайги, рек и гор с опять же примерно пятьюдесятью тысячами (никто точно не знает, так как никто не считал) тувинцев – смеси разных племен и обломков великих народов, живших поочередно на этой земле, – и

десятком тысяч русских крестьян, староверов и купцов, проникавших сюда с конца девятнадцатого столетия...

* * *

Дождавшись восьми часов по местному, Топкин спустился в кафе. Это было не кафе даже, а скорее что-то вроде буфета – несколько столиков, аппараты с кофе и кипятком, молоко, чай, сахар в пакетиках, йогурт, какие-то хлопья.

За одним из столиков сидели две пожилые женщины, тихо переговариваясь на неизвестном Топкину языке.

– Бонжу-ур! – появился из соседней комнаты огромный, очень черный, до синевы, негр в белой курточке.

Топкин отозвался слегка растерянно:

– Бонжур.

Негр больше жестами, чем словами, спросил, из какого он номера; Топкин два раза дернул руками с растопыренными пальцами. Дескать, двадцать.

– О-оке! – Отметив что-то в журнале, негр скрылся в комнате и почти сразу вернулся с тарелкой – круассан, булочка, шоколадная паста «Нутелла» в крошечной упаковке. Поставил на стол, взглядом показал Топкину, что это ему.

«Такому банки грабить, а не круассаны выдавать, – подумал Топкин, и тут же пристыдил себя: – При чем здесь банки?.. Нашел непыльную работу и приткнулся...»

Может, благодаря вкусному кофе и свежему круассану вспомнилось забавное: как они в восемьдесят четвертом всей школой репетировали танец. На протяжении полутора месяцев – в сентябре, начале октября – всех, от второклассников (первоклашек пощадили) до десятиклассников, собирали на футбольном поле и включали магнитофон с мощной колонкой. По округе бұхала песня «На шагающих утят быть похожими хотят...»

И человек триста, стоя полукругом, должны были синхронно повторять за женщиной в ветровке с полосками одни и те же движения: по-куриному махать согнутыми в локтях руками, приседать, виляя при этом задом, вскидывать руки, подпрыгивать, тянуть руки вверх... Выглядело это со стороны наверняка очень смешно.

Топкину было тогда одиннадцать лет, он еще не научился не подчиняться, а парни из старших классов да и некоторые девушки стали пропускать репетиции, отказываться. Но на них с необычной суровостью обрушилась добродушная вообще-то завуч: «Это не наша прихоть. Это – государственное задание! Подготовка к славному юбилею». Грозила наказаниями вплоть до исключения из комсомола. «А без комсомола вы ни в один институт!..»

Однажды всем раздали спортивные костюмы. Да нет, какие спортивные – легкие трикошки и футболки. У каждого возраста был свой цвет: у одних – бордовый, у других – зеленый. Андрею и его сверстникам достались белые. Помнится, их сразу прозвали кальсонами.

Стали репетировать в костюмах. На то, как они приседают и машут руками, приходили посмотреть какие-то солидные дяденьки. Серьезно кивали.

И вот была собрана общешкольная линейка. Директор объявил, что в ближайшее воскресенье на стадионе «Хуреш» состоится праздничный концерт, посвященный сорокалетию вхождения Тувы в братскую семью народов СССР.

«Нашей школе оказали большое доверие – участвовать в празднике, – повысил голос директор, высокий, далеко еще не старый мужчина, Сергей Владимирович Корнеев; обычно он редко показывался за пределами своего кабинета, и всем учебным процессом, поведением учеников занималась завуч, но выступать перед школьниками любил. – Настоятельно требую всех к девяти утра быть у входа в Парк культуры и отдыха. Мы собираемся и организованно идем к стадиону... Повторяю, это очень ответственное мероприятие!»

Он замолчал, видимо, решив, что сказано все. Завуч что-то ему шепнула.

«Да-да, – спохватился Сергей Владимирович, – и не забывать костюмы. Всем ясно?»

«Угу-у», – прокатилось по рядам совсем не бодрое.

Белые трико выглядели, конечно, позорно, и Андрей с одноклассниками решили не идти. Тем более и страшновато было танцевать на стадионе перед тысячами глаз такой танец. «На шагающих утят...»

«При чем здесь эти утята?» – недоумевала и мама, но потом ей объяснили: мелодия немецкая, а их школа переписывается со школой в ГДР; есть несколько ребят, которые жили в Германии – отцы там служили...

«Надо участвовать, сынок, – убеждала она Андрея, то и дело заговаривающего, что не пойдет. – А то и нам неприятности будут. Мы все вместе пойдем. У папы дежурства нет как раз. Погуляем после концерта, газировки попьем. Говорят, мороженое привезут».

Мороженое в Кызыле до начала девяностых было редкостью. Здесь его не производили, а доставляли из-за Саян, за четыреста километров, было наверняка невыгодно. И потому оно появлялось в городе лишь по праздникам, да и то не всегда и не во всех магазинах.

Во времена кооперативов некие умельцы стали делать мороженое сами, по слухам, из детского питания. Оно стоило очень дорого, было невкусным, да и кто-то здорово им траванулся. Или слухи такие распустили, чтоб прикрыть лавочку. И прикрыли.

Году в девяносто втором появились уже серьезные коммерсанты. Но они тоже не стали строить заводи, а везли мороженое в рефрижераторах из Абакана и Минусинска. Торговля шла прямо на улице – из коробок. Расхватывали только так, несмотря на безденежье.

Теперь никого мороженым в Кызыле не удивишь, а в восемьдесят четвертом... Короче, Андрей сломался: в обмен на три пачки пломбира или эскимо (что окажется) согласился танцевать на стадионе в «кальсонах».

Эти «кальсоны», кстати, ненавистные, позорные, стали на неделю, как сейчас бы сказали, фишкой. Начало этому положил топкинский одноклассник и сосед по дому Славка Юрлов. Дня через три-четыре после выдачи этого концертного наряда он явился в школу в «кальсонах». На туловище синяя форма, а на ногах – они.

«Ю-урлов! – схватила его за рукав встречавшая учеников в фойе завуч. – Что это за видок?!»

«А чего? – Славка недоуменно скривил губы. – Обнашиваю. Так все артисты делают».

«Ну-ка марш домой за брюками!»

В общем, Славку не пустили на первый урок, а на следующий день в «кальсонах» пришли еще человек пять.

Завуч перекрыла дорогу одному, задержала другого, но потом почему-то отпустила. И несколько дней пацаны щеголяли по школе с белым низом. Андрей хотел было тоже прийти так, но не решился...

Само выступление запомнилось смутно. Волновался, повторял за другими движения, поэтому мало что замечал вокруг. Но часы перед концертом и после отпечатались в памяти подробно.

Около девяти был с родителями и сестрой Таней на площади возле входа в Парк Гастелло. (У Топкина до сих пор держалась подсознательная уверенность, что летчик-герой был их земляком, иначе зачем называли парк его именем; но о Туве Гастелло если и слышал – участвовал в боях на Халхин-Голе, – то вряд ли в ней бывал, и логики в том, что Парк культуры и отдыха носил его имя, не прослеживалось никакой. Тем более что в Кызыле родились или жили несколько Героев Советского Союза. Например, Михаил Бухтуев, совершивший первый таран бронепоезда танком.)

Площадь была забита толпами пацанов и девчонок из разных школ. По сигналу руководителей то одна, то другая двигалась через мост над протокой в сторону стадиона «Хуреш».

Андрей заметил в людском скопище высокого физрука Одувана, а уже потом учеников. Договорился с родителями, где встретятся после выступления, прибил к своим.

По чьему-то знаку двинулись. Бухала в отдалении музыка, вокруг болтали, смеялись... Праздник... Около задних ворот стадиона сняли верхнюю одежду и выбежали на поле, расставились не очень густым – часть ребят все-таки не пришла – овалом.

Оглушительно, со всех сторон, зазвучала мелодия про утят, и стали танцевать. Когда песня кончилась, убежали обратно за ворота.

А потом наступила обжираловка мороженым и пирожными «гномиками», обпивание газировкой. Очень быстро, получив от родителей рубль, Андрей свалил к пацанам-одноклассникам. Рубль мгновенно истратился на сладкое и катание на «взрослых» каруселях – на «цепочке»; испарились и деньги пацанов, и они стали рыскать по кустам в поисках пустых бутылок.

«Чебурашки» из-под газировки принимали там же, где торговали, – за столами под зонтиками. И происходил почти бесконечный круговорот: сдавалась пустая бутылка за двадцать копеек, добавлялось семь, или десять, или пятнадцать копеек в зависимости от вида газировки и покупалась целая поллитровка. Распивалась по кругу, сдавалась за двадцатик, к которому нужно было добавить еще копеек, чтоб купить следующую. И пацаны неслись на поиски пустой тары.

Заодно гонялись за девчонками по узким боковым дорожкам вокруг памятника Горькому (его много позже разрушат, и куски бетонного тела будут валяться в окрестных кустах), играли в прятки в зарослях шиповника, акации. А по парку разносилась жизнеутверждающая музыка со стадиона. Припекало осеннее солнце... Был праздник.

* * *

Шагнул на улицу под синий навес у двери отеля, и сразу обдало сырым ветром. Черт, даже в голову прийти не могло, что в Париже возможна плохая погода. Как тут гулять? Об асфальт колотились сердитые твердые капли, ручейки воды бежали по краям проезжей части.

Топкин глянул время в телефоне. До начала экскурсии оставалось около сорока минут. До места встречи – Гранд-опера – минут пятнадцать. По этой улице налево, потом повернуть направо, потом еще раз направо... Паренек на ресепшоне, пообъясняв, сказал в итоге нечто такое: «Все дороги приводят к Опера».

Без всякого желания Топкин закурил, поднял воротник легкой куртки и, ссутулившись, держа сигарету в кулаке, пошел по узкому тротуару.

Грел себя теплым прошлым.

...Да, тот октябрьский день оставил ощущение настоящего праздника. И не потому, конечно, что вдоволь надулись вкуснятиной. Нет, была какая-то абсолютная радость и, может, впервые возникшее ощущение, что дальше будет вот так – хорошо, светло, весело...

Сколько прошло с тех пор? Восемьдесят четвертый год... А, да, тридцать лет. Ровно до месяца.

«Тридцать!» – крикнуло в Топкине отчетливо, отчаянно, и он даже остановился, как перед ямой, пытаясь осознать эту громадную для человеческой жизни цифру. Тридцать лет. Три четверти прожитой им жизни. И еще четверть – почти не помнившееся детство. А сколько впереди?

Сколько... Пусть двадцать, пусть еще тридцать или даже сорок. Но через двадцать лет ему будет за шестьдесят. Если даже сбережет себя, здоровье сохранит, все равно... За шестьдесят – это старость. Как ни крути, как себя и других ни обманывай.

И, получается, она совсем рядом. Чик! – и вот вместо восемьдесят четвертого года две тысячи четырнадцатый. А потом еще – чик! – и две тысячи тридцать четвертый... Один

чик, наполненный бликами, силуэтами мелькающих фигур, мгновениями удовольствия, тоски, веселья, горя...

– Да нет, – вслух запротестовал Топкин, досасывая горячий дым из окурка. – Нет, чего я, блин... Много было... Много всякого!

Действительно. А чем он занимался последние сутки? Как во время перелета из Абакана в Москву стало вспоминаться, так не отпускает. Лезет и лезет, всплывает, вспучивается, словно еще одна, повторная жизнь, давно пережитое.

Дома, в привычной обстановке перед телевизором, или за компьютером после тяжелого дня, или с друзьями, которые рядом много лет, или с девушкой, молодой и свежей, воспоминания спят, а тут – навалились...

Так, так, надо идти, добраться до Опера, забраться в салон автобуса, свернуться на сиденье у окна, смотреть на плывущий Париж. Узнавать места, которые знал давно, но по фильмам, по книгам. А теперь – увидеть вживую. И Топкин, нагнув голову, глядя в землю, пряча лицо от ледяных капель, скосив в сторону от порывов ветра туловище, захлюпал дальше.

«Как Пьер Ришар», – представил себя со стороны, попытался развеселиться. И почти сразу чуть не врезался в женщину с тележкой. Женщина что-то предупреждающе выкрикнула, и Топкин увернулся.

Поднял лицо, увидел слева магазин. Супермаркет. Оттуда надувало ароматным теплом. Шагнул внутрь, чтоб немного обсохнуть под кондиционером над дверью, согреться. Но пошел дальше, в глубину. Утираясь платком, бродил в лабиринте высоких прилавков, полок, стеллажей.

Изобилию не удивился – им теперь мало кого удивишь даже в медвежьих углах России. Хотя неизвестные упаковки манили, заставляли себя разглядывать. И очень быстро любопытство сменилось желанием купить это, и это, и еще вот это попробовать...

Зачем тащиться по холоду черт знает куда, ведь можно устроиться в номере – симпатичной теплой норке с окошком на Париж – и посидеть... Вот и полки с бутылками. Вино, ликеры, шампанское. Крепкие напитки. *Pastis* – бросилось в глаза. Сорок пять градусов. Национальный французский напиток. Был абсент, но настоящий абсент когда-то запретили, теперь вместо него в основном разная фигня. А вот пастис... Это, говорят, вещь. Попробовать? Да, надо.

Вернулся ко входу, взял пластиковую корзину. Она стала наполняться нарезкой оранжевого сыра, бекона, какой-то колбасой с орехами, палкой багета, бутылкой пастиса, пачкой сока (пастис, слышал, нужно разбавлять). Да, еще воду! Вода-а... Нашел полку с водой, взял двухлитровую бутылку. Уже возле кассы заметил печенье. Печенье он любил. Вот это, «Орео», улыбнулось ему...

Рассчитался без затруднений – кассирша, чернявая девушка с блестящими глазами, молча пробивала покупки, Топкин молча складывал их в пакет, потом глянул на экранчик. Был удивлен дешевизной – слегка за двадцать евро. Даже в переводе на рубли – нормально.

Кассирша сказала как-то по-товарищески:

– Мерси, мёсьё.

– Мерси, – ответил он.

* * *

Черт с ней, с обзорной экскурсией. Изменится погода, сам всё осматрит. Будет гулять где захочет, ни от кого не завися.

В номере достал программу тура, нашел выделенное маркером. Бесплатное.

Послезавтра – поездка в Версаль. Это обязательно. А в последний день – посещение Лувра. Да, да, Лувр! Лувр – святое. И необходимо уточнить, входит ли в это посещение Орсе,

где импрессионисты. Это ведь тоже, кажется, Лувр. Типа филиал Лувра... Или нет?.. Надо выяснить. Моне, Ван Гог, Тулуз-Лотрека нельзя пропустить.

– Довольно восторгаться репродукциями! – провозгласил Топкин и плеснул зеленовато-коричневого пастиса в стеклянный стакан.

Понюхал. Терпко пахло аптечными препаратами. Поболтал стакан; жидкость задвигалась внутри тяжело, как масло... Стоит разбавить. Пить неразбавленным опасался. В какой пропорции? И чем лучше – водой, соком?

Налил воды раза в два больше, чем было пастиса. Зеленовато-коричневое побелело, аптекой запахло сильнее, но уже не так терпко.

Топкин сделал глоток, переждал, сделал второй. Сладковато. Чуть ощутимое пощипывание алкогольными градусами языка, глотки. И этот аптечный вкус... Кажется, чем-то подобным мама заставляла его полоскать горло, когда простывал. Анисовые капли, что ли...

В детстве Топкин болел довольно часто. Особенно осенью. Начинался кашель, из носа текло, поднималась температура, не сильно, но все-таки.

Может, это и не простуда была, а малоизвестная в то время аллергия – сезон болезней совпадал с началом отопительного сезона. В избах начинали жечь уголь, и котловину, в которой лежит Кызыл, затягивало удушливым чадом, снег становился серым, иногда и в нескольких метрах ничего не было видно.

Поначалу Андрей пугался болезни, томился сидением дома, а потом научился извлекать из этих дней в кровати пользу и удовольствие. Лепил солдатиков, особенно тщательно отделявая форму и оружие, склеивал модели линкоров, читал... Большинство прочитанных им книг было прочитано именно во время болезней.

Родители уходили на работу, а он, завернувшись в одеяло, пробирался в большую комнату, которую у них называли «зал», и включал телевизор. По второй программе показывали по утрам – именно в то время, когда школьники сидели на уроках, – интересные передачи. «Образовательные», как указывалось в телепрограмме.

«История. 8 класс. Кромвель и уравниатели», «Биология. 7 класс. Пауки», «Музыка. 4 класс. Богатырские образы в музыке А.П. Бородина», «Итальянский язык. 2-й год обучения»...

Особенно нравилось Андрею, когда актеры читали произведения. Похожий на дворянина актер декламировал стихи Жуковского, Олег Борисов наизусть рассказывал всего «Конька-Горбунка», глядя в камеру. Подвижные старички увлеченно, как о своих знакомых, говорили о Пушкине, Лермонтове, Маяковском, то и дело приводя по памяти четверостишия... Андрей завидовал их памяти: ему самому заучивание стихов давалось с великим трудом.

А к стихам тянуло. Некоторые казались написанными не людьми – не мог человек написать так прекрасно, найти такие точные, единственные слова, рифмы, которые не только украшают, а и доводят смысл до нечеловеческого величия. Нет, какого-то сверхчеловеческого.

Как землю нам больше небес не любить?
Нам небесное счастье темно.
Хоть счастье земное и меньше в сто раз,
Но мы знаем, какое оно.

Правда, стихи так просто – открыл книгу и начал – читать не получалось. Нужно было настраивать себя, что-то отключать в голове, а что-то включать, вытягивать из глубины, из-под того, что было необходимо в ежедневной жизни, грубой, опасной, нередко звериной. И это отключение и включение удавалось чаще всего во время болезней, в одиночестве, вынужденном, но и таком каком-то живительном, благотворном.

Были стихи и чудесные, и страшные одновременно, неожиданные, непредставимые. Становилось непонятно, почему их издавали теперь, когда везде говорят о хорошем в нашей стране, добром, учат созидать и созидаться, а не разрушать и разрушаться самим...

С детского сада Топкин помнил: «Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром». Помнил даже тот момент, когда строки эти вошли в него и остались в нем жить. И слыша их где-нибудь, читая своему сынишке, Топкин внутренне оказывался в том месте, где их узнал.

Всех детей уже разобрали, а мама задерживалась. Стемнело, в группе погасили свет, оставив один торшер, и в большом окне было видно, что на улице большими хлопьями падает снег, хлопья цепляются за ветки растущей у самого окна березы... Воспитательница ушла, а с Андреем осталась няня, пожилая большая женщина. И, наверное, заметив, как он тревожится, что готов заплакать, она усадила его на диван рядом с торшером и села рядом. В руках у нее была книга.

«Андрюша, а давай я тебе стишок прочитаю, – сказала. – Его написал Сережа Есенин, почти такой же маленький мальчик, как ты. Сидел дома один, в окошко смотрел и написал. А потом он вырос и стал великим поэтом».

Держа открытую книгу перед собой, но не заглядывая в нее, няня стала рассказывать:

«Белая береза под моим окном...»

Через несколько лет – ему было уже девять-десять, – оставшись дома один, Андрей рассматривал корешки книг в шкафу. Книг было немного, но все же, чтобы прочитать их все, нужно было потратить много времени. И он боролся с желанием взять и начать читать эти толстые недетские книги и страхом за время чтения пропустить важное в жизни.

На одном из корешков увидел: «Сергей Есенин», вспомнил тот вечер в садике, няню, словесную мелодию про березу и достал книгу.

Обложка была серая, как старый снег, поперек нее – веточка с кленовыми листочками... Андрей полистал, цепляясь взглядом за строки и отрываясь от них без усилия. Но вот зацепился и не смог оторваться. И побежал дальше, ниже и сам чувствовал, как с каждой строкой лицо его искажается, кривится.

Снова пьют здесь, дерутся и плачут
Под гармоники желтую грусть.
Проклинают свои неудачи,
Вспоминают московскую Русь.

И я сам, опустясь головою,
Заливаю глаза вином,
Чтоб не видеть лицо роковое,
Чтоб подумать хоть миг об ином.

Что-то всеми навек утрачено.
Май мой синий! Июнь голубой!

«Май мой синий, июнь голубой», – повторил Андрей эти наполненные свежим воздухом слова, а потом снова ухнул в удушливый сумрак:

Не с того ль так чадит мертвячиной
Над пропащею этой гульбой.

Что знал тогда, в девять-десять лет, Топкин о плохом? Да, конечно, кое-что знал. И видел про жизнь бандитов в фильмах «Место встречи», «Сыщик». Но стихи об этом читал впервые.

Ах, сегодня так весело россам,
Самогонного спирта – река.
Гармонист с провалившимся носом
Им про Волгу поет и про Чека.

«Про Чека... Про ЧК? Про чекистов?..»

Что-то злое во взорах безумных,
Непокорное в громких речах.
Жалко им тех дурашливых, юных,
Что сгубили свою жизнь сгоряча.

Строчки неплыли, а словно бы ковыляли, запинаясь, спотыкаясь, и от этого было еще страшней и удушливей.

Где ж вы те, что ушли далече?
Ярко ль светят вам наши лучи?
Гармонист спиртом сифилис лечит...

«Сифилис?!» – слово, которое нельзя говорить... За кидание друг в друга тряпкой, которой стирают мел с доски, ставили неуд по поведению, вызывали родителей к завучу. И не за саму игру наказывали, а за слово, что, кидая тряпку, нужно было выкрикнуть: «Сифа!» Нельзя говорить это слово. А тут написано, причем целиком, напечатано в книге.

Может, это какая-то секретная книга? Говорят, бывают такие, и их нельзя хранить. Андрей посмотрел, где ее выпустили. Москва. Издательство «Правда». 1977 год. Нет, не секретная... Тогда – почему?..

Дрожащими руками он поставил книгу на место, а потом много дней следил за родителями – подходят ли к шкафу, берут ли серый томик. Даже старался попозже засыпать: был уверен, что берут обязательно, читают, но наверняка по ночам, чтобы никто не видел.

Вспоминал слова няни из детского сада – «великий поэт». Неужели и она знает это – про «заливаю глаза вином», «сифилис»?!

А через некоторое время Андрей с родителями оказался в гостях у папиного сослуживца, прапорщика Кандаурова, местного жителя. День рождения отмечался или еще какое-то торжество.

Семья Кандаурова жила в своем доме, с печкой, скрипучим полом, запахом избы. И на неровно оштукатуренной, с проступающей дранкой, белёной стене Андрей увидел портрет Есенина. Молодой человек с желтыми волосами и очень-очень яркими губами. Серый пиджак, в руке – трубка. Внизу – витиеватая надпись: «Сергей Есенин». Полуфотография, полурисунок. Такие делали у них в городе в конторке под названием «Металлокерамика». Портреты на могилки...

Андрей смотрел в грустные голубоватые глаза Есенина, на жизнерадостного хозяина дома, на его всё посмеивающуюся жену, на своих родителей, у которых было веселое настроение, и не верил, что они читали стихи Есенина. Как можно радоваться после «что-то всеми навек утрачено»? Всеми, не только теми, из стихов...

* * *

Белёная смесь не пила. Действительно, как лекарство. Хм, которое не действует... Топкин выплеснул смесь в раковину, налил пастику по новой. Решил больше не разбавлять. В конце концов, сорок пять градусов – не смертельно. Раз два-три, больше чтоб показать, что не слаб, не ссыкло, приходилось глотать одеколон. И ничего, пережил, даже испытывал особое, не сравнимое с водочным или коньячным опьянением. А тут какая-то бодяга из травок... К тому же однажды пробовал абсент, когда ездил в Красноярск к друзьям, и тоже пил неразбавленным. Правда, немного – на много денег не было, пол-литра стоили тысячу с лишним. Распили компанией бутылочку, хоть узнали, что это... Зато после абсента налили «Байкалом» до ободов. Выжили.

Но все-таки волновался. Не из-за того именно, что собирался пить нечто новое, неизвестное, – чего волноваться в сорок лет по этому поводу? И не мысль, что он в Париже, волновала. Нет, другое волнение тормозило, другого свойства. Топкин не мог понять какого. Или не хотел понимать, боялся копаться в себе, разгадывать.

Поэтому подхватил одной рукой стакан, другой – ломтик сыра.

– Поехали! – выдохнул и влил в себя граммов тридцать; не успев разобрать вкус, зажевал сыром.

Проглоченный солоноватый комок стал спускаться в желудок, гася жжение. Приятное жжение крепкого алкоголя. Во рту же, несмотря на сырныe остатки, было свежо, как после зубной пасты.

– А ничего-о. – И Топкин налил в стакан еще.

Пить сразу не стал, смотрел телевизор, где шла какая-то спортивная передача. Вроде давнишних советских «Веселых стартов» и гэдээровских «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас».

В детстве Топкин любил смотреть эти телесоревнования. Особенно ему нравился ведущий гэдээровской программы и его частая помощница – страшенькая и в то же время милая, обаятельная девочка. В них обоих словно бы вставляли какие-то мощные батарейки, заставлявшие постоянно двигаться брови, губы, щеки, глаза...

Конечно, смотрел и серьезные игры, болел за наших спортсменов на чемпионатах мира, Олимпиадах. В хоккее, правда, предпочтение отдавал канадцам.

В начале восьмидесятых советские хоккеисты побеждали почти во всех матчах, занимали и занимали первые места, а канадцы привозили на турниры студентов, почтальонов, страховых агентов, которые при помощи двух-трех профессионалов бились с нашими спаянными круглогодичными тренировками хоккеистами героически и отчаянно. Иногда от безысходности, видимо, они начинали драться, но советские богатыри и тут их били... В общем, тех канадцев-неудачников было жалко.

Но когда из сборной ушли Третьяк, Мальцев, Балдерис, Капустин, Шалимов, Шепелев, Жлуктов и наши стали проигрывать чаще и чаще, Топкин бросил канадцев. Но это не помогло – в начале девяностых советский хоккей с его почти сорокалетней цепью побед кончился, и интерес к этому виду спорта заметно упал. Впрочем, ко многому упал интерес тогда, и то время – время начала взрослой жизни – осталось в памяти Топкина почти сплошным темным пятном, освещенным несколькими светлыми вспышками: свадьба, своя квартира, дискотеки, на которые он ходил, уже не боясь вымерших бугров, свободно танцевал с молодой женой, которая в его сознании еще оставалась подругой, «его девушкой» Ольгой. У нее и фамилия осталась прежней, девичьей – Ковецкая. Ольга не проявила желания поменять фамилию, а Андрей не настаивал. И, как оказалось, правильно сделали – потом было меньше хлопот...

Уроки физры мало кто любил, хотя резвились – «бесились», как называли это учителя, – на переменах, после уроков до упаду. Но на физру даже самые активные шли как на пытку. Не нравилась дисциплина – требования Одувана построиться, бегать по кругу, трель его свистка, команды: «Правым плечом вперед! Левым!.. Упор лежа принять!»

Правда, на физре часто обнаруживалось, что одноклассники, привычные, на которых и внимания не обращаешь, то есть не замечаешь перемен в них, оказывается, менялись, превращались в соблазнительных девушек... И как они умеют двигаться, как упруго у них подрагивает... И, бывало, у пацанов под трикошками вдруг возникал заметный, стыдный бугорок. Приходилось скорее опускаться на корточки – «блин, в боку закололо».

Но не меньше, а даже больше возбуждали воображение одноклассники, которые не бегали и не прыгали, а сидели на лавке. Класа с шестого почти на каждом уроке было таких две-три. Они что-то говорили физруку, тот понимающе кивал и разрешал не заниматься. И словно бы появлялась какая-то новая, взрослая параллель между физруком, лысоватым жилистым дядькой, и тринадцатилетними девчонками. А пацаны, одноклассники девчонок, оставались еще в глуповатом щенячьем детстве.

Пацанов тревожило это, они пытались найти объяснение, почему девчонки время от времени не прыгают и не играют в баскетбол, а сидят на лавке и обмениваются с физруком многозначительными взглядами. И однажды кто-то в раздевалке ляпнул:

«Да у них течка».

«Какая течка? – сразу заинтересовались остальные. – Чё это?»

«Ну, когда внутри всё готово, чтоб ребенок стал развиваться. И им нельзя в эти дни на физру ходить».

«А потом? Почему детей нет?»

«Ну, их трудно заделать».

Теперь Топкин улыбался такому объяснению, а тогда, помнится, стал пристальнее приглядываться к одноклассницам. Каждая была теперь не просто девчонкой, симпатичной или страшенькой, а главное – существом, в котором в любой момент может появиться ребенок...

Странно, что, слыша в то время, да и раньше – чуть ли не с детского сада, – матерные и ругательные слова или те, что играли роль ругательных, вроде «педофил» с ударением на второй слог, Топкин и его сверстники довольно поздно узнали о менструации. Где-то в выпускных классах. Матери скрывали от родных свои критические дни, прятали кровавые ватки и тряпки, подружки не говорили об этих днях. Никому не могло прийти в голову громко объявить: «У меня менструация!» Не то что теперь, когда по телику в одной только рекламе прокладок об «этих днях» можно услышать сто раз на день.

Почти перед каждым уроком физры и после него пацаны развлекались тем, что заталкивали кого-нибудь в девчоночью раздевалку. Тот, кого заталкивали, вроде бы сопротивлялся, а сам надеялся увидеть белое пятно голого тела, и так будоражил этот визг – как бы испуганный, возмущенный, а на самом деле... Класе в девятом девчонки перестали визжать, и забава сошла на нет...

Да, физру не любили, а вот во что с удовольствием играли лет в восемь-четырнадцать, так это в хоккей. Сначала – на свободном пяточке во дворе, а потом, немного повзрослев, – в хоккейной коробке. Той самой, где позже произошло побоище Армяна с Бессарабом.

Собирались пацаны примерно одного возраста из нескольких домов и часами гоняли шайбу по утоптанному снегу.

Лед в коробке не заливали. Может, краны не работали, шлангов не было или еще что мешало. Да он, по существу, был бесполезен: с конца ноября до конца марта держались такие морозы, что ноги в коньках коченели за считанные минуты. Для катания нужен был теплый вагончик рядом, а таковой имелся – да и то не каждый год – лишь на центральном катке, между

Музыкально-драматическим театром и сквером возле гостиницы «Кызыл». Но там в хоккей не поиграешь – каток предназначался для чинного кружения.

Андрею нравилось стоять в воротах. Без преувеличений с рождения слышал из телевизора восторженно-уважительное: «Третья-ак!» – это когда Владислав Третьяк в очередной раз спасал ворота – и, подрастая, хотел, чтобы и про него так говорили: «То-опки-ин!»

Стоял в воротах он действительно хорошо, его заметил один из тренеров местной детской команды «Динамо», раз-другой позвал попробоваться в форме, с настоящими юными хоккеистами, но Андрей, хоть и кивал, пропустил эти предложения мимо ушей, а потом жалел. Мог бы действительно заиграть всерьез... Но пожалел, когда любым видом спорта заниматься всерьез стало поздно...

Особенно ярко, отчетливо запомнились хоккейные баталии не в выходные дни или после уроков, а в будни.

Каждое утро зимой Андрей вставал с мыслью: сегодня такой мороз, что в школу можно не идти. Не умывшись, шел на кухню, где было радио.

Вкусно пахло завтраком, окно искрилось толстой наледью.

«Чисти зубы и садись есть», – говорила мама.

«Подожди». – Андрей прислушивался.

«Кызыл чоголоктур, – приветствовало радио по-тувински. – Экии, мищтер! – А потом повторяло по-русски: – Говорит Кызыл. Доброе утро, товарищи!»

И дальше сообщали погоду. Сначала опять же на тувинском языке, затем – на русском. Если по-тувински говорили долго и звучало «дёртен», то есть «сорок», значит, мороз сильный и занятия с первого по такой-то класс отменяются. Оставалось узнать, до какого именно.

«С первого по третий, – уже поняв, часто говорила мама. – Иди умывайся».

«Ну подожди-и!» – морщился Андрей, надеясь, что мама ошиблась.

Иногда, очень редко, ошибалась. Случалось, сестре можно было не идти в школу, и она, радостно смеясь, бежала еще поспать, вернее, поваляться в кровати, а Андрей завтракал под мамино торопение, одевался и брел по сорокаградусному морозу в школу. И эти метров триста казались длиннющей, трудной дорогой. Не из-за холода, а из-за обиды...

Но бывало, что занятия отменяли с первого по пятый, по восьмой и даже по десятый классы. И эти утра становились по-настоящему счастливыми.

Конечно, Андрей не выказывал перед родителями особенной радости. Сдерживался. Даже мрачнел и вздыхал расстроено:

«Блин, а я к биологии подготовился...»

Сам же с нетерпением ожидал, когда папа поедет в часть, а мама – в универмаг «Саяны», где она заведовала отделом «Ткани».

И вот они выходили из квартиры, и он начинал звонить пацанам. У большинства в квартирах стояли телефоны: отцы были офицерами. Спрашивал:

«Выйдешь?»

Или пацаны его опережали. Какая разница?.. В общем, часов в девять собирался табунчик ребят в валенках, шубейках, шапках с опущенными ушами, с натянутыми на рты воротами свитеров. В руках – клюшки. В морозном мареве добирались до коробки, при помощи считалок разбивались на команды – устоявшихся составов не было, – и начиналось рубилово.

Пацаны росли, удары по шайбе становились всё мощнее, пошли щелчки и метания (когда шайба летала по воздуху) – стоять в воротах становилось опасно.

При помощи папы Андрей сконструировал себе щитки из ваты и вшитых в ткань палочек; однажды увидел в «Детском мире» маску почти как у канадских вратарей. Уговорил родителей купить ее. И когда стал по-настоящему готов отражать любые броски, пацаны выросли и потеряли интерес к хоккею. Уцелевшие клюшки матери использовали для выбивания ковров, как растяжку для сушки белья на балконе...

После чемпионата Европы по футболу, когда наши стали серебряными призерами, нака- тило увлечение футболом. Погонять мяч, конечно, любили всегда, но тут случилось нечто осо- бенное. Матчи проводили если и не одиннадцать на одиннадцать, с соблюдением всех правил, то все же всерьез – со штрафными и одиннадцатиметровыми, аутом, попытками фиксировать офсайд.

Андрей находился обычно в защите, в ворота вставал редко, а для атаки не был доста- точно резв и силен.

Вскоре играть просто так стало скучно, и пацаны разработали сетку настоящего чемпи- оната школы. В нем принимали участие классы с седьмого до десятого. В девятом и десятом парней, правда, оставалось мало – по шесть-восемь человек (большинство после восьмого ухо- дили в училища, техникумы), и обязательно один-другой играть не умели и не хотели, поэтому недостающее до равного количества брали из других классов. Тринадцатилетние, понятно, на равных играть с шестнадцатилетними не могли, но все же задерживали атаки соперников пусть не умением, так числом.

Собирались после уроков на футбольном поле за школой, убирали камни, палки, битое стекло и начинали. Этот чемпионат – а кто в итоге победил, забылось – поразительно объеди- нил пацанов, и даже бугры перестали наезжать и трясти деньги. Жалко, на время...

Занятия физкультурой в институте были необязательными. Корпус истфила, на кото- ром учился Топкин, находился возле парка, и желающие могли побегать по дорожкам или же побросать мяч в кольцо на крошечной спортплощадке на задах корпуса. А если желания ни бегать, ни бросать не было, то можешь отметить у давно потерявшего всякий интерес к сво- ему предмету преподавателя – и свободен... Андрей предпочитал отмечаться.

По телевизору соревнования не смотрел – детское боление исчезло бесследно, и лет с девятнадцати он считал глупостью, признаком некоторой дебиловатости убивать время, наблюдая, как бегут на лыжах, пинают мяч, пасуют друг другу шайбу. Лучше фильм посмот- реть, послушать музыку, почитать. В крайнем случае отжаться, подтянуться, пробежаться самому.

Последний раз Андрей оказался на стадионе осенью девяносто второго года. После пар в институте решили побухать пива. Это не просто бухнуть, а выпить как следует. Всерьез.

Собралась компажка человек семь с разных курсов истфила. В продуктовом магазине на улице Интернациональной, небольшом и почти укромном, пиво в розлив было. Но требовалась тара. Хм, теперь, когда повсюду пластиковые бутылки, дико представить, что двадцать лет назад унести разливу было проблематично. (Бутылочное появлялось редко, к тому же стоило раза в два дороже.) Да и выпить на месте зачастую тоже: у продавщицы имелась одна мерная кружка, а то и банка, которой она могла наливать пиво хоть куда. Случалось, люди подставляли целлофановые пакеты.

Слава богу, один из студентов, Юрий Пахомов, жил неподалеку. Сбегал домой, принес две пустые трехлитровые банки. Не совсем чистые, но это было уже не так важно. Главное, появилась тара.

Продавщица нацедила в банки желтоватого, почти не пенящегося «Жигулевского», при- няла деньги – целую пачку рублей образца девяносто первого года, бледных по сравнению с советскими, без надписей «один карбованец, бир манат»... Интересно, что, когда их выпус- кали, Советский Союз еще был, а надписи на языках основных народов, этот Союз составляв- ших, убрали, оставив лишь надпись на русском. Но об этом тогда мало кто задумывался, было не до того, да и эти полусоветские рубли просуществовали недолго, утонув в море новых, пест- рых, но ничего не стоивших бумажек.

Однажды, году в девяносто четвертом, Топкин чуть было не влип конкретно из-за еже- дневной, а то и ежечасной инфляции. Поехал в находящийся километрах в ста от Кызыла городок Туран. Нужно было отвезти кой-какие документы по работе. Сел в автобус, доехал,

отдал. Вернулся на автостанцию, стал покупать обратный билет, а ему: «Цены изменились». И билет стал стоить почти в два раза дороже. У него не хватало. Пришлось бежать к тем, кому передавал документы, просить в долг. И самое неприятное: документы Андрей вручил людям стрёмные – доказывающие, что претензии на выплату такой-то суммы неосновательны. И вот гонец с плохой вестью просит себе типа чаевые за эту весть... Хорошо, что люди – совсем не богатая, по всему судя, семья – вошли в положение, дали недостающую сумму...

Купив пива, стали искать, где бы устроиться. Пить просто под деревом или во дворе было рискованно – улицы патрулировала милиция, отыскивая не столько преступников и хулиганов, сколько мелких нарушителей порядка, чтобы стрясти с них штраф за распитие в общественном месте, справление нужды на забор.

«Может, на бережок? – предложил кто-то из парней. – Забудимся в тальник».

Пошли в сторону Енисея. Хотя там бухать тоже небезопасно: менты заглядывали и туда да вдобавок можно было нарваться на тувинцев. Начнутся наезды, разборки, может и нож возникнуть. Но посидеть на теплых булыганах, глядя на катящуюся сильную воду, на степь на той стороне, на горы, задуматься всем вместе о чем-нибудь таком, что оторвет на несколько минут от земли, – это кайф...

«О, смотрите, “Пятилетка” открыта!» – изумленно воскликнул Юрик Пахомов.

Проходили как раз мимо стадиона «Пять лет Советской Туве».

Стадион этот хоть и был намного скромнее «Хуреша», что находился в парке, – одна трибуна, а с трех остальных сторон высоченный забор, – но именно на «Пятилетке» проводили большинство мероприятий. Удобно – почти в центре города.

Здесь выступали знаменитые гастролеры от Аллы Пугачевой и Евгения Леонова до группы «Мираж». На «Мираж» ломились толпы, хотя знатоки тогда, году в восемьдесят восьмом, утверждали, что это ненастоящий «Мираж» и поют под «фанеру», но остальным – многим сотням парней и девчонок – было плевать: тащились, сидя на трибуне, по полной; а танцевать было нельзя: по проходам курсировали дружинники и успокаивали особо эмоциональных:

«Присядьте. Иначе будем вынуждены вывести».

Но как тут усидишь, когда тебя будоражит, подбрасывает нежный и смелый девичий голос из мощных колонок: «Снова к друзьям я своим убегаю, что меня тянет туда, я не знаю. Без музыки мне оставаться надолго нельзя-а!»

На «Пятилетке» проходили соревнования по легкой атлетике, футбольные матчи какой-то зоны какой-то лиги, в которой пребывало кызылское «Динамо».

За полем следили, вечно перекладывали пласты быстро засыхающего дерна, берегли песок в секторе прыжков в длину, посыпали кирпичной крошкой беговые дорожки... А теперь ворота настезь, никого рядом.

Парни осторожно вошли, поозирались и тихо, гуськом, как группа диверсантов, двинулись на верх трибун, под крышу, где на концертах и соревнованиях обычно сидело начальство и уважаемые люди.

Уселись и стали гонять банку по кругу. Банка становилась легче и легче, а в животе, наоборот, тяжелело. Голову медленно заливало мутноватое пивное опьянение.

Разговаривать было особенно не о чем. Виделись пять дней в неделю в институте, знали друг о друге, кажется, всё. Почти все после школы пробовали поступить в вузы в других городах, но не получилось, и вот осели в пединституте, нося на себе едкую поговорку: «Ума нет – иди в пед».

Никто свое будущее не видел школьным учителем; Серега Пикулин с четвертого курса рассказывал о практике с ужасом: семиклассники, особенно девки, издевались над ним так, что успокоительные таблетки пить приходилось, хотелось перебить этих орущих, гогочущих подростков.

«Мы такими не были», – как-то по-стариковски вздыхал Серега.

Вообще, диплом о высшем образовании казался бессмысленным и лишним, учеба – пустым убиванием времени, того времени, которое можно было употребить на дело.

А дела закручивались неслабые. Именно тогда, в те дни и недели девяносто второго года, ковались состояния, создавались базы для дальнейшей безбедной жизни. Хотя не обходилось без крови: бились за эти базы, и многие гибли. После многолетней хулиганской войны, следовавшего за ней нашествия на город районных бесов с ножами в сапогах накатил новая волна убийств.

От этой волны, в отличие от двух предшествующих, можно было увернуться: главное – не лезть на рожон, не ввязываться в борьбу. И парни, мучаясь, теряя к себе уважение, понимая, что упускают возможности, не ввязывались. Ходили на лекции, сдавали зачеты и экзамены. Ходили, сдавали и видели впереди, после получения диплома, вполне реальную угрозу службы в армии. А армия – это почти наверняка или дедовщина, или реальная война.

Войны вспыхивали почти во всех республиках развалившегося Союза. И войны не такие, как у них в Туве, когда подрежут или застрелят одного-другого, сожгут два-три дома в деревне, а с автоматными очередями, взрывами, горами трупов. Карабах, Баку, Южная Осетия, Северная Осетия, Приднестровье, Абхазия, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия... И везде воюющих разнимали русские солдатики и гибли, гибли...

«Слышал, могут разрешить отказываться от армии», – сказал один из парней, третьекурсник Борька Салин.

«Ага, приходишь в военкомат и говоришь: “Не хочу”. И они там: “Да, да, пожалуйста. Вот вам военный билет”».

Вялые смешки над невеселой шуткой. Салин забурчал обиженно:

«Ну, альтернативная служба... Учителем в деревне работать, к примеру».

«И сколько там работать? До двадцати семи лет?»

«Не знаю... Это проект пока...»

«И чем в деревне лучше, чем в армии? – спросил Андрей. – Там скорее могут убить».

Вспомнили о нынешней поездке на картошку. По старой традиции в начале сентября студентов отправляли помогать колхозникам убирать урожай. Андрей не поехал – просто не явился к автобусам. Был уверен, что за неявку не отчислят, а картошечная романтика, воспетая студенческим фольклором, была ему не нужна: у него была Ольга.

Уехавшие студенты буквально через день стали возвращаться по двое-трое. Рассказывали, как на них накидывались пьяные местные, и русские, и тувинцы, парней били, девчонок хватили, нескольких чуть не изнасиловали. Автобусы, конечно, уехали обратно в город, преподаватели и руководители совхоза ничего не могли сделать; участкового вообще не нашли. Пришлось студентам пробираться к трассе, ловить попутки. За оставшимися выслали автобус.

Всё обошлось без серьезно пострадавших, но с тех пор с картошкой было покончено.

«Но, – согласный с замечанием Андрея кивок. – В деревне страшнее армии».

«Ну, может, у староверов-то еще нормально».

Староверы появились в Урянхае под конец девятнадцатого века, расселились по берегам Малого Енисея и его притоков в труднодоступных местах. За сто с лишним лет разные власти пытались подчинить их государству, установить свои порядки, но не получилось – выстояли, пугая пришлых начальников групповыми самоубийствами: бросались в полыньи, сгорали в срубах, замерзали – «замирали» – в тайге.

С перестройкой староверческие поселки стали даже увеличиваться: подсеялись вдруг осознавшие себя староверами, прибывались крестьяне из захваченных тувинцами деревень, приезжали семьи из других уголков Сибири, не сумевшие прижиться в рыночном мире.

Крепость веры, а точнее традиций, у староверов стала слабеть, но все равно учителям у них до сих пор было неуютно, тревожно. Побить не побить, но попросить, чтоб не засоряли ребятишкам мозги Дарвином, астрономией, историей, могли очень внушительно...

«Игорёнь, – позвали единственного в их компашке отслужившего, – а как там вообще в армии?»

Игорь Чучалин, двадцатиднолетний первокурсник, дернул плечами:

«Да мне нормально. Три месяца в учебке, потом почти два года на заставе. Один раз выезжал – в госпиталь с ветрянкой».

«На заставе... На границе, что ли?»

«Ну да. С Финляндией... Спокойно, нормально. – Игорь говорил медленно, расслабленно, глядя словно не на высоченный забор напротив, а сквозь него; может, пытался увидеть там эту свою заставу. – Дом двухэтажный, гаражные боксы, баня... свиньи были, коровы, две лошади... Огород был, рыбачить ходили... Кормежка более-менее, молоко каждый день парное... Парни, у кого до службы с девчонками было, тосковали сильно, а мы, остальные, так... Не, нормально. Несколько человек на сверхсрочную остались в последний момент. О дембеле мечтали, а он подошел – посмотрели, что тут творится, и остались».

Из-под трибун появились ребята-тувинцы лет двенадцати-пятнадцати. В шортах, майках. Поразминались, потом по свистку тренера встали на дорожку и побежали.

«Вот они тренируются, – прежним расслабленным голосом произнес Игорь, – а мы бухаем. Они нас сожрут в конце концов».

* * *

Топкин обнаружил себя на кровати одетым. Телевизор журчал каким-то французским ток-шоу: сердились, спорили, перебивали друг друга, но без фанатизма, довольно вежливо.

Рот был стянут, глоталось с трудом... Еще хуже, чем после виски.

Поднялся, покачиваясь, подошел к столу, долго пил воду. После воды закололо в висках. Будто вода пробивала там ссохшиеся руслица. Глянул на бутылку с пастисом – его оставалось на дне.

– Офигеть...

Он не помнил, как уговорил эти пол-литра; казалось, принял три-четыре порции.

За окном сумерки. Неужели день кончился?... Нашел взглядом часы. Ну да, почти шесть.

– Надеюсь, шесть вечера, – хмыкнул Топкин и, чтобы снять колотье в висках, допил пастис. Бутылку сунул в корзину под столом.

Надо было идти. Куда именно, он не знал, но – надо. Посмотреть Париж. Хоть кусок увидеть. Вдохнуть.

«Завтра пойдешь, – гасила это желание похмельная лень. – Еще почти неделя впереди».

– Какая неделя?! – рассердился Топкин. – Четыре дня.

«И четырех дней хватит. Хва-атит».

Выпутался из лени и томности, умылся, тщательно почистил зубы... Хотел было сделать несколько затяжек сигаретой, но пересилил – покурить на улице. Еще один повод выйти.

Помня об утреннем холоде, надел еще одну майку, а на ноги – запасные носки. Больше утеплиться было нечем. Надо завтра зайти в магазин и купить теплую куртку. Теплую стильную французскую куртку.

Перед глазами возник Ален Делон из какого-то фильма в кожаной куртке вроде летчицкой, с меховым воротником. Конечно, сегодня такую носить смешно, а все-таки – красиво...

На ресепшене стоял новый молодой человек. Болтал по стационарному, с проводом-спиралью, телефону. Увидел Топкина, вытянулся и как-то испуганно, точно Топкин был его начальником или каким-нибудь инспектором, пропел:

– Бонсуа-а-ар!

– Бон, бон, – кивнул Топкин, решая, сдать ключ или нет. В кармане таскать – тяжело, а сдать – потом обратно надо просить, язык ломать... Оставил у себя.

На всякий случай осмотрел холл, вспомнил, что где-то читал: в европейских отелях есть зонтики. Не увидел. Преодолевая не неловкость, а нечто напоминающее брезгливость, что ли, как при общении с калекой, спросил при помощи жестов и немецкого «регенширм» про зонтик. Молодой человек с виноватой и действительно какой-то увечной улыбкой помотал головой отрицательно.

– Ясно...

Закурил под навесом. Дождя не было, но в воздухе поблескивала словно бы ледяная пыль. Лицо, волосы, руки, сигарета моментом стали влажноватыми. Захотелось обратно.

– Так, налево, направо? – спросил себя Топкин вслух и так сердито, что сам удивился; хотя, если честно, сердиться было за что. По крайней мере за этот потерянный день...

– Налево, – ответил он этому сердитому голосу и пошел.

Дома были красивые, но похожие один на другой сильнее, чем наши хрущевки. И на всех – ажурные, кружевные балкончики, будто лишние детали Эйфелевой башни; под всеми крышами – оконца мансард. Заблудиться немудрено.

Топкин оглянулся, чтоб запомнить отель с этой стороны. Вон синий навес над входом. Ладно, найдет...

В Кызыле в восемьдесят четвертом, перед сорокалетием присоединения Тувы к СССР, балконы на центральных улицах украсили деревянными щитами с национальным орнаментом – перекрещивающиеся прямые, образующие квадратики, а в целом симметричные многоугольники. Прикрыли цветастыми щитами скарб и хлам, громоздившийся на балконах. Довольно долго было симпатично, особенно когда орнамент подкрашивали.

К тому празднику готовились всерьез. На центральной площади – имени Ленина (теперь площадь Арата, хотя памятник Ленину так и стоит) – сделали фонтан со скульптурами местных животных: сарлыки, горные бараны, степные лошади. Рядом построили первую в республике девятиэтажку на каком-то сейсмоустойчивом фундаменте. Или гасящих подземные толчки подушках... Эта девятиэтажка долго воспринималась как чудо прогресса. Теперь девятиэтажек уже полно, а в ту ходили как на экскурсии, с замиранием сердца катались на лифтах.

К сорокалетию пригнали в Кызыл оранжевые «Икарусы»-«гармошки». Тоже чудо по сравнению с оранжевыми ЛиАЗами, которые называли скотовозами, и уютными, но маломестительными тоже вообще-то ЛиАЗами, но в народе получившими имя «зилки» по заводу ЗИЛ, изготовившему первую партию этих автобусов в пятидесятые годы.

На «гармошках», как и на лифтах, многие катались просто так, ради удовольствия, благо за проезд можно было не платить: контролеры появлялись очень редко. Пацаны набивались в месте соединения двух частей автобуса, и, когда «гармошка» поворачивала, пол начинал прикольно вращаться.

Улицы ремонтировали к юбилею, на месте избушек в центре вырастали бетонные и кирпичные многоэтажки. Кызыл расцвел, расширился в том тысяча девятьсот восемьдесят четвертом...

Многого, конечно, в силу возраста Топкин не замечал, не знал, многое забылось, но осталось ощущение, что тогда, в том году, становилось лучше и лучше, красивее и современнее.

Но, видимо, отмечать сорокалетие не только человека, но и исторического события – плохая примета.

И в то время, когда одни праздновали вхождение Тувы в семью братских народов в Парке культуры и отдыха, другие рассовывали по почтовым ящикам письма: «За каждый год оккупации тувинский народ ответит жизнью русского оккупанта. Ждите сорок смертей!» Люди, обнаружив эти обещания на следующий день, когда доставали из ящиков газеты, понесли их в милицию. Там заверили:

«Это хулиганство. Не волнуйтесь. В любом случае соответствующие органы найдут подонков».

Нашли или нет – никто, кажется, не узнал, но больше таких бумажек не было. До поры до времени.

В следующий раз их обнаружили накануне праздника Победы в восемьдесят пятом, потом – в годовщину Октябрьской революции. А потом все пошло вразнос. Не только и не столько в Туве, а повсюду.

Нет, было сложнее. С одной стороны, повеяло свежестью, бодростью и желанием жить как-то осмысленней, плодотворней, а с другой – не очень-то милый, но привычный мир стал рушиться.

Папа приходил со службы все более мрачный. Смотрел, хмурясь, передачи по телевизору, досадливо вздыхая, читал газеты и журналы. Молчал, держал свои мысли при себе, как и подобает офицеру. Или, может, с мамой что-то обсуждал, когда сына и дочери не было рядом.

Во многих других семьях было не так, и на переменах, после уроков одноклассники Андрея, тринадцатилетние пацаны и девчонки, ребята во дворе пытались обсуждать происходящее.

«Горбачев сказал, что надо все перестраивать. И образование тоже».

«В Чернобыле взрыв такой на атомной станции... Людей вывозят срочно... Радиация...»

«Виноградного сока почему нету? Горбачев приказал виноградники вырубать, чтоб вино не делали».

«В Афгане десант не туда высадили, и они бились долго, много парней погибло».

Об Афганистане сверстники Топкина слышали с раннего детства, и казалось, что он был и будет всегда. То, что там наши солдаты защищают строящих социализм афганцев, секретом не было. Про это говорили почти в каждой передаче «Служу Советскому Союзу!», выходили книги, снимались фильмы, писались картины. Но году в восемьдесят пятом пошли слухи – впоследствии они оказались правдой – о больших потерях среди наших солдат, о том, что наши участвуют там в настоящей войне, а не просто в поддержании порядка.

Андрею запомнилась такая сцена. Они с мамой развешивали белье во дворе, и подошла соседка, зашептала маме, но зашептала так, что он слышал:

«В Ачинске на станции целый вагон стоит, цинковыми гробами набит. Оттуда развозят по городам... Колошматят мальчишек. Берут и бросают под пули».

У мамы страшно исказилось лицо, она затрясла тазом с остатками рубашек, трусов, закричала:

«Прекратите! За сплетни знаете что?! Я жена офицера, я не потерплю!...»

Но вскоре уже в газетах стали писать, по телевизору заговорили о кровавых боях в Афганистане, десятках и десятках убитых. Названия городов Кабул, Кандагар, Герат звучали чаще, чем советские Новосибирск, Минск, Владивосток...

Привозили ребят в цинковых запаянных гробах и к ним в Кызыл. Два раза Андрей побывал на похоронах тех, кто учился в их школе на три-четыре класса старше. Официальной причиной их смерти объявляли несчастные случаи – одного убило оборвавшимся тросом где-то в Туркмении, другой погиб в аварии в Таджикистане. Но среди прощавшихся металось слово «Афган». Сопровождавшие гробы офицеры не спорили.

Да и как скроешь этот Афган – возвращались воевавшие там, неразговорчивые, какие-то отстраненные. Появились инвалиды, молодые парни, – кто с пластмассовой кистью руки, кто с негнущейся ногой-протезом, кто со стеклянным, изумленно глядящим на мир глазом, изрезанным шрамами лицом...

Как-то Андрей оказался свидетелем такой сцены. Шел по скверу и увидел сидящих на скамейке незнакомых взрослых ребят. У них были бутылки, какая-то еда на бумажке. Возле них стоял пожилой мужчина и говорил строго:

«Ради этого мы, получается, кровь проливали? Чтоб вы тут в рабочее время жрали портвейн?»

Один из парней вскочил и разорвал свою пеструю рубаху – на асфальт сыпанули пуговицы.

«А мы не проливали?! – заорал он, показывая бугристое багровое пятно на левой стороне груди немного выше сердца. – Мы не проливали кровь?»

Пожилой мужчина попятился, как от заразного больного, потом повернулся и быстро, втянув голову в плечи, посеменил по дорожке. Парень глянул на Андрея страшными глазами – Андрей, тогда пацан лет пятнадцати, рванул прочь.

В те годы, наверное, и возник, стал разрастаться страх армии. Сначала – у матерей скорых призывников: женщины, недавно радовавшиеся здоровым, крепким сыновьям, искали у них какие-нибудь болезни, из-за которых не возьмут служить. «Не отправят под пули».

Страх матерей передался сыновьям. Но сыновей сильнее пугал не Афган, а дедовщина.

Да, стал затухать Афган – посыпались статьи о дедовщине. Воевать и даже погибнуть на войне одно – к этому пацаны готовились с детства, в это играли, этому учились, и их учили в школе, в кружках и секциях, а быть рабом у тех, кто отслужил на год больше тебя, – это унижительно, мерзко. Унижения боялись больше смерти.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.